

Редьярд Киплинг

**Индийские рассказы  
(сборник)**



# Редьярд Джозеф Киплинг

## Индийские рассказы (сборник)

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=141829](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=141829)*

### Аннотация

«...Контракт был подписан легкомысленно; но ещё раньше, чем девушка достигла полного расцвета, она наполнила собой большую часть жизни Джона Хольдена. Для неё и для старой ведьмы – её матери – он снял маленький дом, из которого открывался вид на обнесённый красными стенами город. Когда ноготки зацвели у фонтана во дворе, когда Амира устроилась сообразно своим понятиям о комфорте, а её мать перестала ворчать на неудобства кухни, на дальность расстояния от рынка и вообще на разные домашние дела – он сделал открытие, что этот дом стал для него родным. Каждый мог и днём, и ночью войти в его бунгало холостяка, и жизнь, которую он вёл там, имела мало прелести...»

# Содержание

Без благословения церкви	4
Возвращение Имрея	40
Финансы богов	58
Мятежник Моти Гудж	65
Город страшной ночи	76
Воскресение на родине	86
Мальтийская кошка	106
Сновидец	136
В силу сходства	187
№ 007	196
Бруггльсмит	221
Барабанщики «Передового и тыльного»	248

# Редьярд Жозеф Киплинг

## Индийские рассказы

### Без благословения церкви

#### I

– А если будет девочка?

– Господь милосерден, этого не может быть! Я так много молилась по ночам и так часто посылала дары на алтарь шейха Бадля, что знаю – Бог даст нам сына, ребёнка мужского пола, который станет мужчиной. Думай об этом и радуйся. Моя мать будет его матерью до тех пор, пока ко мне не вернуться силы; а мулла патанской мечети составит его гороскоп – дай Бог, чтобы он родился в счастливый час! – и тогда, тогда тебе никогда не надоеет твоя раба!

– С каких пор ты стала рабой, моя царица?

– С самого начала – пока милость не снизошла на меня. Как могла я быть уверенной в твоей любви, зная, что куплена за деньги?

– Это был обычный выкуп. Я заплатил его твоей матери.

– А она спрятала его и сидит на нем целыми днями, словно наседка. Что разговаривать о выкупе! Я была куплена, слов-

но танцовщица из Лукнова, а не ребёнок.

– И ты жалеешь об этом?

– Жалела; но сегодня я рада. Теперь ты никогда не перестанешь любить меня? Отвечай, царь мой.

– Никогда... Никогда!

– Даже если мем-лог – белые женщины твоей крови – полюбят тебя? И помни, я видела их, когда они катаются по вечерам; они очень красивы.

– Я видел воздушные шары, сотни воздушных шаров. Я увидел луну и – потом не видел более воздушных шаров.

Амира захлопала в ладоши и рассмеялась.

– Очень хорошие слова, – сказала она. Потом, приняв величественный вид, прибавила: – Довольно. Разрешаю тебе уйти – если желаешь.

Он не двинулся с места. Она сидела на низкой красной лакированной кушетке в комнате, все убранство которой состояло из синей с белым клеёнки на полу, нескольких ковров и целого собрания туземных подушек. У его ног сидела шестнадцатилетняя женщина, заключавшая в себе – в его глазах – весь мир. По всем законам и правилам этого не должно было бы быть, так как он был англичанин, а она – дочь мусульманина, купленная два года тому назад у её матери, которая, оставшись после мужа без денег, продала бы рыдавшую Амиру хоть самому черту, дай он подходящую цену.

Контракт был подписан легкомысленно; но ещё раньше,

чем девушка достигла полного расцвета, она наполнила собой большую часть жизни Джона Хольдена. Для неё и для старой ведьмы – её матери – он снял маленький дом, из которого открывался вид на обнесённый красными стенами город. Когда ноготки зацвели у фонтана во дворе, когда Амира устроилась сообразно своим понятиям о комфорте, а её мать перестала ворчать на неудобства кухни, на дальность расстояния от рынка и вообще на разные домашние дела – он сделал открытие, что этот дом стал для него родным. Каждый мог и днём, и ночью войти в его бунгало холостяка, и жизнь, которую он вёл там, имела мало прелести. В городском же доме только он один мог войти с наружного двора в комнаты женщин; когда большие деревянные ворота захлопывались за ним, он становился царём на своей территории, а Амира – царицей. И в этом царстве должно было прибавиться третье существо, появлением которого Хольден не был доволен. Оно мешало полноте его счастья. Оно нарушало мирный покой и порядок его дома... Но Амира и её мать были вне себя от восторга при мысли о ребёнке. Любовь мужчины, особенно белого, вообще неустойчива, но его можно – так рассуждали обе женщины – удержать детскими ручками.

– И тогда, – постоянно говорила Амира, – он не будет больше думать о мем-лог. Я ненавижу всех их, я ненавижу всех их!

– Со временем он вернётся к своему народу, – говорила мать, – но, благодарение Богу, время это ещё далеко.

Хольден сидел на кушетке, размышляя о будущем, и мысли его не были приятны. В жизни вдвоём есть много неудобств. Правительство, по странной заботливости, отсылало его на две недели из места его стоянки по специальному делу вместо другого служащего, который находился у ложа больной жены. Устное сообщение о замене сопровождалось шутливым замечанием, что Хольден должен считать счастьем, что он холостяк и свободный человек. Он пришёл сообщить Амире эту новость.

– Это не хорошо, – медленно проговорила она, – но и не совсем дурно. Моя мать здесь, и со мной не может случиться ничего дурного, если я только не умру от радости. Отправляйся по своему делу и не предавайся тревожным мыслям. Когда пройдут эти дни, я думаю... нет, уверена!.. И... и тогда я положу его тебе на руки, и ты будешь вечно любить меня. Поезд уходит сегодня ночью, не так ли? Ступай и не отягчай своего сердца из-за меня. Но ты не замедлишь вернуться? Ты не остановишься по дороге, чтобы поговорить со смелыми мем-лог? Возвращайся ко мне скорее, жизнь моя!

Проходя через двор, чтобы сесть на привязанную у ворот лошадь, Хольден заговорил с седым старым сторожем. Он приказал ему в случае необходимости послать телеграмму и оставил заполненный телеграфный бланк. Сделав все, что можно было сделать, с чувством человека, присутствовавшего на своих собственных похоронах, Хольден ночным поездом отправился в изгнание. Днём он ежечасно боялся, что

получит телеграмму, а по ночам постоянно представлял себе смерть Амиры. Вследствие этого свои служебные обязанности он выполнял отнюдь не безупречно, а его отношение к товарищам было не особенно любезным. Две недели прошли без известий из дома, и Хольден, раздираемый тревогой, вернулся, чтобы потерять два драгоценных часа на обед в клубе, где он слышал, как слышит человек в обморочном состоянии, чьи-то голоса, говорившие ему, как отвратительно исполнял он свои временные обязанности, что о нем говорят все, кто имел с ним дело. Потом он летел верхом всю ночь с тревогой в сердце. На первые его удары в ворота ответа не было, и он повернул было лошадь, чтобы ворваться в них, как появился Пир Хан и придержал ему стремя.

– Случилось что-нибудь? – спросил Хольден.

– Новости не должны исходить из моих уст, покровитель бедных, но... – Он протянул дрожащую руку, как приличествовало человеку, приносящему хорошую весть, за которую он должен получить награду. Хольден поспешно прошёл через двор. В верхней комнате горел огонь. Лошадь его заржала у ворот, и он услышал пронзительный, жалобный крик, от которого точно комок подкатил к его горлу. Это был новый голос, но он не служил доказательством, что Амира жива.

– Кто там? – крикнул он снизу узкой кирпичной лестницы.

Послышалось восторженное восклицание Амиры и потом голос матери, дрожавший от старости и гордости:

– Мы, две женщины, и мужчина – твой сын.



На пороге комнаты Хольден наступил на вынутый из ножен кинжал, положенный для того, чтобы отогнать несчастье. Рукоятка кинжала сломалась под его нетерпеливым каблуком.

– Бог велик! – в полутьме проворковала Амира. – Ты взял его несчастье на свою голову.

– Да, ну а как ты, жизнь моей жизни? Старуха, как она?

– Она забыла о своих страданиях от радости, что родился ребёнок. Дурного ничего нет; но говори тихо, – сказала мать.

– Нужно было только твоё присутствие, чтобы мне стало совсем хорошо, – сказала Амира. – Царь мой, ты очень долго не был здесь. Какие подарки привёз ты мне? А-а! На этот раз я приношу подарки. Взгляни, жизнь моя, взгляни! Был ли когда-нибудь на свете такой ребёнок? Я слишком слаба даже для того, чтобы взять его на руки.

– Лежи спокойно и не разговаривай. Я здесь, бечари.<sup>1</sup>

– Хорошо сказано; теперь между нами есть связь, которую ничто не может нарушить. Посмотри – можешь ты видеть при этом свете? Он без малейшего пятнышка, без малейшего недостатка. Никогда не было такого ребёнка мужского пола. Ийе иллек! Он будет учёный человек, пандит, – нет, солдатом королевы. А ты, моя жизнь, по-прежнему любишь меня, хотя я слаба, худа и больна? Отвечай правду.

– Да. Я люблю, как любил – всей душой. Лежи тихо, жемчужина моя, и отдыхай.

---

<sup>1</sup> **Бечари** – маленькая женщина.

– Тогда не уходи. Сиди вот здесь, рядом со мной, вот так. Мать, господину этого дома нужна подушка. Принеси её. – Со стороны нового существа, явившегося в жизнь, которое лежало на руках у Амиры, почувствовалось еле заметное движение. – Аго! – сказала она прерывающимся от любви голосом. – Мальчик – боец с самого рождения. Он ударяет меня в бок могучими ударами. Ну, был ли когда-нибудь такой ребёнок! И он наш – твой и мой. Положи руку на его голову, но осторожно, потому что он очень мал, а мужчины неловки в таких делах.

Очень осторожно, кончиками пальцев, дотронулся Хольден до покрытой пухом головки.

– Он нашей веры, – сказала Амира, – лёжа здесь в ночные бодрствования, я шептала ему на ухо призыв к молитве и исповедание веры. И самое удивительное, что он родился в пятницу, как я. Будь осторожнее с ним, жизнь моя; однако он уже может хвататься ручками.

Хольден держал беспомощную ручку, которая слабо ухватила за его палец. И от этого прикосновения что-то пробежало по его телу и остановилось в сердце. До тех пор все мысли Хольдена принадлежали Амуре. Теперь он начал понимать, что на свете есть ещё кто-то, но не мог представить себе, что это действительно его сын, одарённый душой. Он сел и задумался Амира слегка дремала.

– Уходи, сахиб, – сказала шёпотом её мать. – Не хорошо, если она увидит тебя, когда проснётся. Ей нужен покой.

– Я ухожу, – покорно сказал Хольден. – Вот рупии. Присматривай за моим баба, чтобы он стал толстым и чтобы у него было все необходимое.

Звяканье серебра разбудило Амиру.

– Я – его мать, а не наемщица, – слабо проговорила она. – Неужели я буду больше или меньше присматривать за ним из-за денег! Мать, отдай их назад. Я дала моему господину сына.

Глубокий сон – следствие слабости – овладел ею, едва она успела окончить фразу. Хольден тихонько спустился во двор с облегчённым сердцем. Пир Хан, старый сторож, смеялся от восторга.

– Теперь дом полон, – сказал он и без дальнейших объяснений сунул в руки Хольдена эфес сабли, которую он, Пир Хан, носил давным-давно, когда служил в королевской полиции. Со стороны фонтана доносилось бляение привязанной козы.

– Там их две, – сказал Пир Хан, – две из самых лучших коз. Я купил их, и они стоили много денег; так как нет гостей, то их мясо будет все принадлежать мне. Ударяй сильнее, сахиб! Это плохо уравновешенная сабля. Погоди, пока они подымут головы и перестанут щипать ногти.

– Зачем все это? – спросил удивлённый Хольден.

– Это жертва по случаю рождения. Как к чему? Иначе ребёнок, не хранимый судьбой, может умереть. Покровитель бедных знает слова, которые надо произнести.

Хольден выучил их однажды, не думая, что когда-нибудь станет произносить серьёзно. Прикосновение холодного эфеса сабли к его руке внезапно изменилось в ласковое пожатие ручки дитяти наверху – ребёнка, который был его сыном, – и боязнь потери охватила его сердце.

– Бей! – сказал Пир Хан. – Никогда на свете не появится новая жизнь без того, чтобы не быть оплаченной другой. Взгляни, козы подняли головы. Теперь ударяй!

Почти бессознательно Хольден ударил дважды, бормоча следующую магометанскую молитву:

– Всемогуший. Вместо этого моего сына я возношу Тебе жизнь за жизнь, кровь за кровь, голову за голову, кость за кость, волосы за волосы, кожу за кожу!

Стоявшая в отдалении лошадь зафыркала и дёрнулась на привязи, почуяв запах свежей крови, обрызгавшей сапоги Хольдена.

– Хороший удар! – сказал Пир Хан, вытирая саблю. – В тебе потерян хороший воин. Иди с облегчённым сердцем, небесно-рождённый. Я твой слуга и слуга твоего сына. Да живёт господин тысячу лет, а... все мясо коз принадлежит мне?

Пир Хан ушёл, разбогатев на месячное жалованье. Хольден вскочил в седло и помчался сквозь вечерний туман, спустившийся на землю. Он был полон буйного возбуждения, сменявшегося неясным чувством нежности, не относившейся ни к какому определённом предмету. Он задыхался от

нежности, склоняясь к шее своей беспокойной лошади. «Я никогда в жизни не чувствовал ничего подобного, – думал он. – Поеду в клуб и возьму себя в руки».

Начиналась партия на бильярде; комната была полна людей. Хольден вошёл, радуясь свету и обществу, громко распевая: «Гуляя в Балтиморе, я встретил даму».

– В самом деле? – спросил секретарь клуба из своего угла. – А не сказала она вам, что у вас сапоги совершенно мокры? Господи, Боже мой, это кровь!

– Чепуха! – сказал Хольден, беря свой кий. – Можно мне присоединиться? Это роса. Я ехал по полю. Однако! Хороши, действительно, мои сапоги!

Будет у нас девочка – мы её обручим,  
А мальчика служить во флот мы отдадим,  
И будет он, в курточке синей, при кортике остром,  
По шканцам отважно ходить.

– Жёлтый, голубой; следующим играет зелёный, – монотонно объявил маркёр.

– «По шканцам отважно ходить...» Я зелёный, маркёр? «Как хаживал папа когда-то...» Эге! плохой удар.

– Не вижу, с чего вам радоваться, – резко проговорил ревностный молодой чиновник. – Правительство не особенно довольны вашей работой за то время, что вы заменяли Сандерса.

– Это что же? Выговор из главной квартиры? – сказал

Хольден с рассеянной улыбкой. – Я думаю, что в состоянии вынести это.

Разговор вертелся вокруг всегда нового предмета – работы каждого из присутствующих, – и Хольден успокоился, пока не настало время отправиться в тёмное, пустое бунгало, где дворецкий встретил его, как человек, знающий все дела своего господина. Хольден не спал большую часть ночи, но сны его были приятны.

## II

– Сколько ему теперь времени?

– Ийа иллах!.. Вот вопрос мужчины! Ему только шесть недель. Сегодня ночью я выйду с тобой на крышу дома, моя жизнь, считать звезды. Потому что это приносит счастье. А родился он в пятницу, под знаком Солнца, и мне сказали, что он переживёт нас обоих и будет счастлив. Можем ли мы желать чего-либо лучшего, возлюбленный?

– Нет ничего лучшего. Пойдём на крышу, и ты будешь считать звезды – только немного насчитаешь их, потому что небо покрыто тучами.

– Зимой дожди бывают позднее, но случаются и не в срок. Пойдём раньше, чем скроются все звезды. Я надела мои лучшие уборы.

– Ты забыла лучший из них.

– Ах, да!.. Наш убор!.. Он также пойдёт. Он ещё не видал

небес.

Амира взобралась по узкой лестнице, которая вела на плоскую крышу. Ребёнок спокойно, не мигая, лежал у неё на правой руке, разряженный в кисею с серебряной бахромой, с маленькой шапочкой на голове. Амира надела все, что у неё было самого ценного. Бриллиантик в носу заменял нашу европейскую мушку, обращая внимание на изгиб ноздрей; золотое украшение с изумрудными подвесками и рубинами с трещинами красовалось на лбу; тяжёлое ожерелье из чистого чеканного золота нежно охватывало её шею, а звенящие серебряные браслеты на ногах спускались на розовую лодыжку. Она была одета в зеленую кисею, как надлежало дочери правоверного; от плеча к локтю и от локтя к кисти руки спускались серебряные цепочки из колечек, нанизанных на розовые шелковинки; хрупкие хрустальные браслеты спадали с запястья, подчёркивая тонкость руки; тяжёлые золотые браслеты с искусными застёжками, не принадлежавшие к местным украшениям, были даром Хольдена, а потому приводили Амиру в полный восторг.

Они уселись на белом низком парапете крыши, откуда был виден город с его огнями.

– Они счастливы там, – сказала Амира. – Но не думаю, чтобы были так счастливы, как мы. Не думаю, чтобы и мемлог бывали так счастливы. А ты как думаешь?

– Я знаю, что они не так счастливы.

– Откуда ты это знаешь?

– Они отдают своих детей кормилицам.

– Я никогда не видала этого, – со вздохом проговорила Амира, – и не желаю видеть. Аи! – она опустила голову на плечо Хольдена, – я насчитала сорок звёзд и устала. Взгляни на ребёнка, любовь моей жизни, он также считает.

Ребёнок круглыми глазами пристально смотрел на тьму небес. Амира положила его на руки Хольдена; он лежал совсем тихо, спокойно, не плакал.

– Как будем мы звать его между собой? – сказала она. – Взгляни! Надоедает тебе когда-нибудь смотреть на него? У него совершенно твои глаза. Но рот...

– Твой, моя дорогая. Кому это знать, как не мне.

– Это такой слабый рот. И такой маленький. А между тем он держит моё сердце своими губами. Дай его мне. Он слишком долго не был у меня.

– Нет, дай ему полежать у меня; он ещё не заплакал.

– Когда он заплачет, ты отдашь его – да? Ты настоящий мужчина! Если бы он заплакал, то стал бы ещё дороже мне. Но, жизнь моя, какое же мы дадим ему имя?

Маленькое тельце лежало у сердца Хольдена. Оно было вполне беспомощно и очень мягко. Он едва дышал из боязни раздавить его. Зелёный попугай в клетке, на которого в большинстве туземных семей смотрят как на духа-охранителя, задвигался на своём месте и сонно шевельнул крылом.

– Вот ответ, – сказал Хольден. – Миан Митту произнёс его. Он будет попугаем. Когда он вырастет, он будет много



говорить и бегать. Миан Митту значит ведь попугай на твоём – на мусульманском языке, не так ли?

– Зачем так отделять меня, – раздражительно проговорила Амира. – Пусть это будет что-нибудь похожее на английское имя, но не совсем. Потому что он и мой.

– Ну, так зови его Тота; это более всего похоже на английское имя.

– Да, Тота, но это все же попугай. Прости меня, господин мой, за то, что было минуту тому назад, но, право, он слишком мал, чтобы нести всю тяжесть имени Миан Митту. Он будет Тота – наш Тота. – Она дотронулась до щеки ребёнка; он проснулся и запищал; пришлось Хольдену отдать его матери, которая успокоила его удивительной песенкой:

Аре коко! Джаре коко!

Мой бэби крепко спит,

А в джунглях спеют сливы по пенни целый фунт,

Лишь пенни целый фунт, баба, по пенни целый фунт...

Успокоенный многократным упоминанием о цене слив, Тота прижался к матери и заснул. Два гладких белых бычка во дворе усердно жевали свой ужин. Пир Хан сидел на корточках перед лошадью Хольдена, положив на колени свою полицейскую саблю, и с сонным видом двигал рукоять водяного насоса. Мать Амиры сидела за прялкой на нижней веранде; деревянные ворота были закрыты засовами. Звук музыки проходившей мимо свадебной процессии доно-

сились до крыши, господствуя над тихим журчанием города; набегавшие облака по временам закрывали лик луны.

– Я молилась, – после долгого молчания проговорила Амира, – я молилась, во-первых, чтобы я могла умереть вместо тебя, если потребуется твоя смерть; а во-вторых, чтобы я могла умереть вместо нашего ребёнка. Я молилась Пророку и Биби Мириам.<sup>2</sup> Как ты думаешь, услышит кто-нибудь из них мою молитву?

– Из твоих уст кто бы не услышал самого пустого слова?..

– Я просила прямого ответа, а ты дал мне сладкие слова.

Будут услышаны мои молитвы?

– Как я могу сказать? Бог очень добр.

– Я не уверена в этом. Выслушай меня. Когда умру я, или ребёнок, какова будет твоя судьба? Ты вернёшься к смелым мем-лог, потому что голос крови силён.

– Не всегда.

– У женщин – да; мужчины – дело другое. Позже, в этой жизни, ты вернёшься к своему народу. Это я, пожалуй, могла бы вынести, потому что буду мертва. Но даже после смерти ты будешь взят в чужое место и в незнакомый для меня рай.

– Будет ли это рай?

– Наверное! Кто же может обидеть тебя? Но мы – я и ребёнок – будем в другом месте и не сможем прийти к тебе, как и ты к нам. В прежнее время, когда ребёнок ещё не родился,

---

<sup>2</sup> **Биби Мириам** – Дева Мария, которая в мусульманской традиции почитается как мать пророка Исы, т. е. Иисуса Христа.

я не думала об этом, а теперь постоянно думаю. Это очень тяжело говорить.

– Будь что будет. Завтрашнего дня мы не знаем; но хорошо знаем сегодняшний и нашу любовь! Ведь мы же счастливы теперь.

– Так счастливы, что хорошо бы сохранить это счастье. Твоя Биби Мириам должна бы услышать меня; ведь она тоже женщина. Но, впрочем, она будет завидовать мне! Неприлично мужчинам поклоняться женщине.

Хольден громко рассмеялся при этой ревнивой выходке Амиры.

– Неприлично? Так отчего же ты не отучишь меня от поклонения тебе?

– Ты поклоняешься?! И мне? Царь мой, несмотря на все твои сладкие слова, я отлично знаю, что я твоя слуга и рабыня, прах под твоими ногами. Да я и не хотела бы, чтобы было иначе. Смотри. – Прежде чем Хольден успел удержать её, она наклонилась и дотронулась до его ног; потом она поднялась с лёгким смехом, крепче прижала Тота к груди и проговорила почти яростно: – Правда ли, что смелые мем-лог живут втрое дольше, чем мы? Правда ли, что они заключают браки только тогда, когда становятся старухами?

– Они выходят замуж, как и другие женщины.

– Я знаю это, но они выходят замуж, когда им исполняется двадцать пять лет. Правда ли это?

– Правда.

– Ийа иллах! В двадцать пять! Кто женится, по своей воле, даже на восемнадцатилетней? Ведь это женщина, стареющая с каждым часом. Двадцать пять! В эти годы я буду старухой. И... Эти мем-лог остаются вечно молодыми!.. Как я ненавижу их!

– Какое отношение имеют они к нам?

– Я не могу сказать. Знаю только, что на земле теперь, может быть, живёт женщина на десять лет старше меня, которая может прийти и взять твою любовь через десять лет, когда я буду старуха, седая, нянька сына Тота. Это несправедливо и нехорошо. Они должны также умирать.

– Ну, несмотря на свою старость, ты все же ребёнок, которого следует поднять и снести вниз по лестнице.

– Тота! Подумай о Тота, господин мой! Ты не умнее любого ребёнка!

Хольден подхватил Америку на руки и понёс её, смеющуюся, вниз по лестнице; а Тота, которого мать подняла предусмотрительно повыше, открыл глаза и улыбнулся, как улыбаются ангелы.

Он был тихий ребёнок. Раньше, чем Хольден ясно осознал, что он существует на свете, мальчик превратился в маленького золотистого божка и неоспоримого деспота в доме. То были месяцы полного счастья для Хольдена и Амیری – счастья, удалённого от света, скрытого за деревянными воротами, у которых сторожил Пир Хан. По утрам Хольден исполнял свою работу с громадным сожалением к тем, кто не

был так счастлив, как он: его симпатии к маленьким детям удивляли и забавляли многих матерей, присутствовавших на местных собраниях. При наступлении вечера он возвращался к Амуре, Амуре, полной удивительных рассказов о том, что делал Тота: как он складывал ручки и двигал пальцами, вероятно, с обдуманном намерением, что было очевидным чудом; как потом он, по собственной инициативе, выполз из своей низкой кровати на пол и, шатаясь, прошёл обеими ножками три шага.

– А сердце у меня на минуту перестало биться от восторга, – говорила Амира.

Потом Тота привлёк животных к участию в своих занятиях – телят, маленькую серую белку и, в особенности, Миан Митту, попугая, которого больно тянул за хвост. Миан Митту кричал, пока не подходили Амира или Хольден.

– О негодник! Дитя насилия! Так-то ты обращаешься со своим братом на крыше! Тобах, тобах! Фуй, фуй. Но я знаю чары, чтобы сделать тебя таким же мудрым, как Сулейман и Афлатун.<sup>3</sup> Смотри, – сказала Амира. Она вынула из вышитого мешка пригоршню миндаля. – Смотри! Считаем до семи! Во имя Божие!..

Она посадила Миан Митту, очень рассерженного и нахолившегося, на клетку и, усевшись между ребёнком и птицей, разгрызла и очистила миндалину менее белую, чем её зубы.

– Это истинные чары, жизнь моя; не смейся. Смотри: я

---

<sup>3</sup> Сулейман и Афлатун – арабская форма имён царя Соломона и Платона.

даю одну половину попугаю, а другую Тота. – Миан Митту осторожно взял клювом свою часть с губ Амиры; другую она, с поцелуями, вложила в рот ребёнку, который медленно съел миндалину, смотря изумлёнными глазами. – Так я буду делать в продолжение семи дней, и, без сомнения, он будет смелым, красноречивым и мудрым. Эй, Тота, кем ты будешь, когда станешь мужчиной, а я буду седая?

Тота подобрал свои ножки с очаровательными ямочками. Он мог ползать, но не желал тратить весну своей юности на бесполезные разговоры. Ему хотелось ущипнуть Миан Митту за хвост.

Когда он подрос и удостоился чести надеть серебряный пояс, – который, вместе с волшебным заклинанием, выгравированным на серебре и висевшим у него на шее, составлял большую часть его одеяния, – он, спотыкаясь, отправился в опасное путешествие по саду к Пир Хану и предложил ему все свои драгоценности взамен езды на лошади Хольдена, пока мать его матери болтала на веранде с бродячими торговцами. Пир Хан заплакал, поставил неопытные ноги на свою седую голову в знак преданности и принёс храброго искателя приключений в объятия его матери, клянясь, что Тота будет вождём людей раньше, чем у него вырастет борода.

В один жаркий вечер он сидел на крыше между отцом и матерью и смотрел на бесконечную войну между воздушными змеями, которых пускали городские мальчишки. Он попросил, чтобы ему дали также змея и чтобы Пир Хан пускал

его, потому что он боялся иметь дело с предметами, размеры которых были больше его самого. Когда Хольден назвал его франтом, он встал и медленно произнёс в защиту своей только что осознанной индивидуальности:

– Я не франт, а мужчина.

Этот протест чуть было не заставил Хольдена задохнуться от смеха, и он решил серьёзно подумать о будущем Тота. Ему не пришлось тревожиться об этом. Эта восхитительная жизнь была слишком хороша, чтобы продолжаться. Поэтому она была отнята, как многое отымается в Индии, – внезапно и без предупреждения. Маленький господин, как называл его Пир Хан, стал грустен и начал жаловаться на боли – он, никогда не имевший понятия о боли. Амира, обезумевшая от страха, не смыкала глаз у его постели всю ночь, а на рассвете второго дня жизнь его была отнята лихорадкой – обычной осенней лихорадкой. Казалось невозможным, чтобы он мог умереть, и сначала ни Амира, ни Хольден не верили, что на кровати лежит маленький труп. Потом Амира стала биться головой о стену и бросилась бы в водоём в саду, если бы Хольден силой не удержал её.

Милость была ниспослана Хольдену. Днём он приехал в свою канцелярию и нашёл необычайно большую корреспонденцию, требовавшую сосредоточенного внимания и большой работы. Впрочем, он не сознавал этой милости богов.

### Ш

Первое ощущение при ранении пулей кажется сильным щипком. Пострадавшее тело посылает свой протест душе только через десять или пятнадцать секунд. Хольден так же медленно осознал своё горе, как раньше счастье, и испытывал ту же властную необходимость скрывать всякое проявление его. Вначале он чувствовал только, что была какая-то утрата и что Амира нуждается в утешении, когда сидит, опустив голову на колени, вздрагивая всякий раз, как Миан Митту кричит с крыши: «Тота! Тота! Тота!» Впоследствии все в окружавшем его мире и в повседневной жизни словно поднялось на него, чтобы причинять ему боль. Ему казалось оскорблением, что любой из детей, стоявших вечером вокруг оркестра, жив и весел, тогда как его ребёнок лежит мёртвый. Ещё больнее бывало ему, когда кто-нибудь из них дотрагивался до него, а рассказы нежных отцов о последних подвигах их детей уязвляли его до глубины души. Он не мог рассказывать о своём горе. У него не было ни помощи, ни утешения, ни сочувствия; а в конце каждого тяжёлого дня Амира заставляла его проходить через тот ад делаемых себе упрёков, на который осуждены те, кто потерял ребёнка и кто верит, что, если бы было немного, хоть немного больше заботливости, он мог бы быть спасён.

– Может быть, – говорила Амира, – я не обращала доста-



точно внимания на него. Так ли это? Солнце было на крыше в тот день, когда он так долго играл один, а я – ай! – заплетала волосы; может быть, это солнце вызвало лихорадку. Если бы я уберегла его от солнца, он мог бы жить. Но, жизнь моя, скажи, что я невиновна! Ты знаешь, что я любила его, как мою жизнь. Скажи, что на мне нет вины или я умру... я умру.

– Нет вины – как перед Богом говорю – никакой. Так было предначертано, и что мы могли сделать, чтобы спасти его? Что было, то было! Брось это, возлюбленная.

– Для меня он был всем, моё сердце. Как могу я бросить эти мысли, когда моя рука каждую ночь говорит, что его нет тут. Ай! Ай! О, Тота, вернись ко мне, – вернись и будем по-прежнему все вместе!

– Тише, тише! Ради себя самой, а также ради меня, если любишь меня, – успокойся!

– Я вижу, что тебе все равно; да и как могло быть иначе? У белых людей каменные сердца и железные души. О, если бы я вышла замуж за человека из моего народа – хотя бы он бил меня – и никогда не ела чужого хлеба!

– Разве я чужой тебе, мать моего сына?

– А как же иначе, сахиб?.. О, прости меня, прости! Эта смерть свела меня с ума. Ты жизнь моего сердца, и свет моих очей, и дыхание моей жизни, и... а я отстранила тебя от себя, хотя это было только на одно мгновение. Если ты уйдёшь, у кого я буду искать помощи? Не сердись! Право, это говорило

страдание, а не твоя рабыня.

– Я знаю, я знаю. Теперь нас двое вместо трех. Тем необходимее нам быть заодно.

По обыкновению, они сидели на крыше. Была жаркая ночь ранней весны; молния танцевала на горизонте под отрывистую музыку отдалённого грома. Амира угнездилась в объятиях Хольдена.

– Сухая земля ревёт о дожде, словно корова, а я... я боюсь. Не так было, когда мы считали звезды. Но ты любишь меня так же, как прежде, хотя то, что связывало нас, и взято от нас? Отвечай.

– Я люблю ещё больше потому, что новая связь возникла – связь печали, которую мы перенесли вместе. И ты знаешь это.

– Да, я знала, – прошептала Амира очень тихо. – Но приятно слышать, когда ты говоришь это, жизнь моя, ты, такой мужественный. Я больше не буду ребёнком, а женщиной и помощницей тебе. Послушай. Дай мне мою ситар, и я спою.

Она взяла лёгкую, украшенную серебром ситар и начала песнь о великом герое радже Расалу. Рука остановилась на струнах, песня прервалась и на низкой ноте перешла в жалкий детский стишок: «А в джунглях спеют сливы – по пенни целый фунт. Лишь пенни целый фунт, баба!..»

Потом пошли слезы и жалобное возмущение против судьбы, пока Амира не уснула. Во сне она слегка стонала и вытянула правую руку, как будто охраняя то, чего не было около

неё. После этой ночи жизнь стала несколько легче для Хольдена. Вечно ощущаемая боль потери заставляла его стремиться к работе, которая оплачивала ему тем, что занимала его ум по девяти-десяти часов в день. Амира сидела в доме одна и грустила, но стала счастливее, по обычаю женщин, когда поняла, что Хольден несколько успокоился! Они снова испытали счастье, но на этот раз с оглядкой.

– Тота умер, потому что мы его слишком любили. Тут была зависть Бога к нам, – говорила Амира. – Я повесила большой чёрный кувшин перед нашим окном от дурного глаза, и нам не следует выражать восторга, но тихо идти под звёздами, чтобы Бог не нашёл нас.

С тех пор они все время говорили: «Это ничего, это ничего», надеясь, что все силы неба слышат эти слова.

Силы были заняты другими вопросами. Они дали тридцати миллионам людей четыре года изобилия, люди хорошо питались; урожаи были обеспечены, и рождаемость возрастала из года в год; из округов доносили, что на квадратную милю отягощённой земли приходится от девятисот до двух тысяч земледельческого населения; а член парламента от Нижнего Тутинга, разгуливавший по Индии в цилиндре и во фраке, распространялся о благодеяниях британского управления и предлагал, как единственно необходимое, введение правильной избирательной системы и раздачу привилегий. Его многострадальные хозяева улыбались и приветствовали его, а когда он остановился перед деревом дхак и

в красиво подобранных выражениях высказал, что его красные, как кровь, цветы, расцветшие не вовремя, служат признаком грядущих благ, они улыбались более, чем когда-либо.

Однажды Хольден услышал в клубе беспечный рассказ депутата-комиссионера из Кот-Кумхарсена, от которого кровь похолодела в его жилах.

– Больше он никому не будет надоедать. Никогда не видал такого удивлённого человека. Клянусь Юпитером, я думал, что он сделает запрос в палате общин по этому поводу. Пассажира на его пароходе, обедавшего рядом с ним, схватила холера, и он умер через восемнадцать часов. Нечего смеяться, братцы. Член от Нижнего Тутинга страшно рассердился на это, но ещё более испугался. Я думаю, что он освободит Индию от своей просвещённой особы.

– Много бы я дал, чтобы его выгнать. Это научило бы подобных ему личностей заниматься своими делами. Но как насчёт холеры? Ещё слишком рано для этого, – сказал смотритель солёного источника, не приносившего доходов.

– Не знаю, – задумчиво сказал депутат. – У нас появилась саранча. По всему северу распространилась спорадическая холера – по крайней мере, мы, из приличия, называем её спорадической. Весенний урожай плох в пяти округах, и никто, по-видимому, не знает, где дожди. Скоро март. Я не хочу никого пугать, но мне кажется, что в этом году природа будет сводить свои счёты большим красным карандашом.

– Как раз тогда, когда я хотел взять отпуск, – раздался чей-то голос издали.

– Отпусков в этом году будет не много, но, вероятно, много повышений. Я приехал, чтобы убедить правительство внести мой излюбленный канал в список необходимых работ в связи с голодом. Нет такого дурного ветра, который не приносит бы добра. Я наконец добьюсь, чтобы этот канал был окончен.

– Значит, старая программа, – сказал Хольден. – Голод, лихорадка и холера.

– О, нет. Только недород на местах и необыкновенные вспышки обычных сезонных болезней. Вы найдёте все это в рапортах, если доживёте до будущего года. Вы счастливый малый. У вас нет жены, которую нужно отсылать подальше от беды. Горные местности, должно быть, будут наполнены женщинами в этом году.

– Мне кажется, вы склонны преувеличивать значение разговоров на базарах, – сказал молодой чиновник из секретариата. – Я заметил...

– Согласен, что заметили, – сказал депутат-комиссионер, – но многое ещё вам придётся замечать, сыночек. А пока я желаю заметить вам. – И он отвёл молодого человека в сторону, чтобы обсудить вопрос о постройке канала, так дорогого его сердцу.

Хольден пошёл в своё бунгало и начал сознавать, что он не один на свете и что боится за другого – самый душеспа-

сительный из всех страхов, известных человеку.

Через два месяца, как предсказал депутат, природа стала сводить свои счёты красным карандашом. По пятам весенней жатвы поднялся крик о хлебе, и правительство, постановившее, что ни один человек не должен умереть от голода, прислало пшеницу. Потом со всех четырех сторон света явилась холера. Она разразилась над собранием полумиллиона пилигримов у священного алтаря. Многие умерли у ног своего Бога; другие убежали и разбежались по всей стране, разнося заразу. Она поразила обнесённый стенами город и убивала по двести человек в день. Народ томился в поездах, висел на подножках, сидел, скорчившись, на крышах вагонов, а холера следовала за ними, так что на каждой станции вытаскивали мёртвых и умирающих. Последние умирали на дорогах, и лошади англичан пугливо бросались в сторону при виде трупов, лежавших в траве. Дожди не приходили; земля обратилась в железо, чтобы человек не мог укрыться в ней от смерти. Англичане отослали жён в горы и продолжали свою работу, являясь, когда им приказывали, заполнять пробелы в боевой линии. Хольден, в страхе потерять своё самое драгоценное сокровище на земле, употреблял все усилия, чтобы уговорить Америку уехать с матерью в Гималаи.

– Зачем я поеду? – сказала она однажды вечером, сидя на крыше.

– Здесь болезнь и люди умирают: все мем-лог уехали.

– Все?

– Все. Осталась, может быть, какая-нибудь взбалмошная старуха, которая раздражает сердце своего мужа, рискуя подвергнуться смерти.

– Нет; та, которая остаётся, моя сестра, и ты не должен бранить её, потому что я также буду взбалмошной. Я рада, что все бойкие мем-лог уехали.

– С кем я говорю – с женщиной или с ребёнком? Поезжай в горы, и я устрою так, что ты поедешь, как королевская дочь. Подумай, дитя. В красной лакированной повозке, запряжённой волами, с медными павлинами на дышле и красными суконными занавесками. Я пошлю двух ординарцев, чтобы охранять тебя и...

– Замолчи! Вот ты так говоришь, как ребёнок. Зачем мне эти игрушки? Он гладил бы волов и играл бы с попонами. Ради него, может быть, – ты все-таки сделал из меня англичанку, – я поехала бы. А теперь не хочу. Пусть бегут мем-лог.

– Их отсылают мужья, возлюбленная.

– Очень хорошо. С каких пор ты стал моим мужем и можешь приказывать мне? Я только родила тебе сына. Ты только желание всей моей души. Как могу я уехать, когда знаю, что, если бы с тобой случилось несчастье, маленькое, как самый мой маленький ноготь на пальце – разве он не мал? – я узнала бы об этом, хотя была бы в раю. А здесь, этой весной, ты можешь умереть, и когда будешь умирать, призовут ходить за тобой белую женщину, и она отнимет у меня последние минуты твоей любви.

– Но любовь не рождается в одно мгновение, да ещё на смертном одре!

– Что ты знаешь о любви, каменное сердце? По крайней мере, она примет твою последнюю благодарность, а, клянусь Богом и Пророком и Биби Мириам, матерью твоего Пророка, я этого не вынесу. Господин мой и любовь моя, пусть больше не будет глупого разговора об отъезде. Где ты, там я. Довольно.

Она обвила его шею одной рукой, а другой закрыла ему рот.

Редко бывают такие минуты полного счастья, как те, которые урываются от дамоклова меча судьбы. Они сидели и смеялись, называя друг друга всеми ласковыми именами так, что могли вызвать гнев богов. Город скрывал муки в своих стенах. Огни зажжённой серы сверкали на улицах; раковины в индусских храмах кричали громко потому, что боги были невнимательны в эти дни. В большом магометанском храме шла служба, а с минаретов доносились почти непрерывные призывы к молитве. Они слышали жалобный плач в домах, где были покойники; однажды до них донёсся крик матери, потерявшей ребёнка и призывавшей его вернуться. В серой дымке рассвета они увидели, что из городских ворот выносятся покойников; каждые носилки были окружены небольшой кучкой провожающих. Тут они поцеловались и вздрогнули.

Природа сводила свои счёты большим красным карандашом. Страна была очень больна и нуждалась хотя бы в



небольшой передышке, чтобы поток обесцененной жизни мог снова оросить её. Дети несозревших отцов и недоразвившихся матерей не оказывали никакого сопротивления. Они были пришиблены и сидели смиренно в ожидании, пока меч снова будет вложен в ножны, в ноябре, если будет угодно судьбе. Среди англичан также оказались пробелы, но они были заполнены. Работа по надзору над голодающим, над холерными бараками, раздачей лекарств и теми немногочисленными санитарными мерами, которые можно было принять, шла, как было предписано.

Хольдену велено было быть наготове, чтобы отправиться заместителем первого человека, который свалится с ног. В продолжение двенадцати часов ежедневно он не мог видеться с Амирой, а она могла умереть в три. Он размышлял о том, как тяжело ему будет не видеть её три месяца и ещё тяжелее, если она умрёт не на глазах у него. Он был вполне уверен, что её смерть неминуема, так уверен, что, когда поднял голову от телеграммы и увидел стоявшего в дверях запыхавшегося Пир Хана, он громко расхохотался.

– Ну?.. – спросил он.

– Когда ночью слышен крик и замирает дыхание в горле, у кого есть чары, чтобы вылечить? Иди скорее, небеснорожденный! Это чёрная холера.

Хольден галопом поскакал к своему дому. Небо было покрыто тяжёлыми тучами, потому что давно задержавшиеся дожди приблизились, и жара была удушливая. Мать Амиры

встретила его во дворе, жалобно всхлипывая.

– Она умирает. Она готовится к смерти. Она уже почти мертва. Что я буду делать, сахиб?

Амира лежала в комнате, в которой родила Тота. Она не подала никакого признака жизни, когда вошёл Хольден, потому что человеческая душа чрезвычайно одинока и, когда готовится уйти, то прячется в туманную пограничную страну, куда не могут проникнуть живые. Чёрная холера делает своё дело спокойно и без объяснений. Амира выталкивалась из жизни, как будто сам Ангел Смерти наложил на неё свою руку. Прерывистое дыхание указывало на страх или на боль, но ни глаза, ни рот не отвечали на поцелуи Хольдена. Ничего нельзя было ни сделать, ни сказать. Хольден мог только ждать и страдать. Первые капли дождя начали падать на крышу, и из истомлённого жаждой города доносились радостные крики.

Душа возвратилась, и губы задвигались. Хольден нагнулся и прислушался.

– Не оставляй себе ничего моего, – сказала Амира. – Не бери волос с моей головы. Она заставит тебя сжечь их потом. Я почувствую этот огонь. Ниже! Нагнись ниже! Помни только, что я была твоя и родила тебе сына. Даже если ты завтра же женишься на белой женщине, удовольствие принять в свои объятия первенца навсегда отнято у тебя. Вспомни меня, когда у тебя родится сын – тот, который будет носить твоё имя перед всеми. Его несчастья пусть падут на мою голову.

Я исповедую... Я исповедую, – губы говорили слова над самым его ухом, – что нет Бога, кроме... тебя, возлюбленный!

Потом она умерла. Хольден сидел тихо; всякая способность думать была утрачена им, пока он не услышал, как мать Амиры приподняла занавеску.

– Она умерла, сахиб?

– Умерла.

– Тогда я стану оплакивать её, а потом сделаю опись мебелировки этого дома. Потому что он будет моим. Сахиб ведь не думает отнять его? Он такой маленький, такой маленький, а я старуха. Мне хотелось бы лежать на мягком.

– Ради Бога, помолчи немного. Уйди и оплакивай её там, где я не могу слышать.

– Сахиб, её похоронят через четыре часа.

– Я знаю обычай. Я уйду прежде, чем её унесут. Это дело в твоих руках. Присмотри за тем, чтобы кровать, на которой... на которой она лежит...

– Ага! Эта прекрасная лакированная кровать. Я давно желала...

– Чтобы эта кровать осталась здесь нетронутой, в моем распоряжении. Все остальное в доме – твоё. Найми повозку, возьми все, уезжай отсюда, и чтобы до восхода солнца ничего не осталось в этом доме кроме того, что я приказал тебе не трогать.

– Я старуха. Мне хотелось бы остаться, по крайней мере, на дни траура, и дожди только что начались. Куда я пойду?

– Что мне за дело? Я приказываю, чтобы ты ушла. Обстановка дома стоит тысячу рупий, а вечером мой ординарец принесёт тебе сто рупий.

– Это очень мало. Подумай, что будет стоить наём повозки.

– Ничего не будет, если ты не уйдёшь отсюда, и как можно скорее. О, женщина, убирайся и оставь меня с моей покойницей.

Мать, шаркая ногами, спустилась по лестнице и в заботах о том, чтобы собрать имущество, забыла оплакивать дочь. Хольден остался у постели Амиры, а дождь барабанил по крыше. Благодаря этому шуму, он не мог думать связно, хотя и старался привести в порядок свои мысли. Потом четыре укутанных в саваны призрака проскользнули, все мокрые, в комнату и усталились на него сквозь покрывала. То пришли обмывать покойницу. Хольден вышел из комнаты и направился к своей лошади. Он приехал в мёртвую, удушливую тишину, по пыли, доходившей до лодыжки. Теперь нашёл вместо двора пруд, полный лягушек, по которому хлестал дождь; ручей жёлтой воды бежал под воротами, а бушующий ветер ударял каплями дождя, словно тараном, о глиняные стены. Пир Хан дрожал в своей маленькой хижине у ворот, а лошадь беспокойно топталась в воде.

– Мне передали приказание сахиба, – сказал Пир Хан. – Это хорошо. Теперь этот дом опустеет. Я также уйду, потому что моё лицо мартышки было бы напоминанием прошло-

го. Что касается кровати, то я принесу её завтра утром к тебе в тот дом; но помни, сахиб, что это будет для тебя нож, поворачиваемый в свежей ране. Я отправляюсь в паломничество и не возьму денег. Я растолстел под покровительством моего высокого господина. В последний раз я держу ему стремя.

Он дотронулся обеими руками до ноги Хольдена, и лошадь выскочила на дорогу, где скрипучие бамбуковые стволы хлестали по небосклону, а лягушки смеялись. Дождь бил прямо в лицо Хольдену так, что он ничего не видел. Он закрыл глаза руками и пробормотал:

– О, скотина! Настоящая скотина!

Весть об его горе уже дошла до бунгало. Он прочёл это в глазах своего дворецкого, Ахмед Хана, когда тот принёс ему еду и в первый и в последний раз в своей жизни положил руку на плечо своего господина, говоря:

– Кушай, сахиб, кушай. Мясо – хорошее средство от печали. Я также испытал это. К тому же тени приходят и уходят; тени приходят и уходят. Вот яйца с соусом из сои.

Хольден не мог ни есть, ни спать. Небеса послали в ночь дождь, покрывший землю на восемь дюймов и начисто омывший её. Воды опрокинули стены, разрушили дороги и размыли неглубокие могилы магометанского кладбища. Дождь шёл весь следующий день, и Хольден сидел дома, погруженный в печаль. Наутро третьего дня он получил телеграмму, в которой говорилось: «Риккетс, Миндони. Умирает. Хольден заменяет. Немедленно». Тогда он захотел по-

смотреть перед отъездом на дом, в котором был хозяином и господином. Погода несколько прояснилась; от сырой земли шёл пар.

Он увидел, что дожди опрокинули глиняные столбы ворот, а тяжёлая деревянная калитка, охранявшая ту, которая была его жизнью, лениво висела на одной петле. На дворе выросла трава в три дюйма; хижина Пир Хана была пуста, и мокрая солома осела между балками. Серая белка завладела верандой, как будто дом стоял необитаемым в продолжение тридцати лет, а не трех дней. Мать Амиры увезла все, за исключением испорченных циновок. «Тик-так» маленьких скорпионов, быстро двигавшихся по полу, был единственным звуком в доме. Комнаты Амиры и та, в которой жил Тота, были пропитаны сыростью, а узкая лестница, ведшая на крышу, вся покрыта грязью. Хольден взглянул на все это и вышел из дома; на улице он встретил Дурга Дасса, хозяина дома. Толстый, любезный, одетый в белую кисею, он ехал в рессорном кабриолете.

– Я слышал, что вы больше не нуждаетесь в этом доме, сахиб?

– Что вы думаете сделать с ним?

– Может быть, сдам его снова.

– Тогда я оставляю его за собою на время моего отсутствия.

Дурга Дасс помолчал несколько времени.

– Не надо так принимать это к сердцу, сахиб, – сказал он. –

Когда я был молодым человеком, я также... А теперь я член муниципалитета. Когда птицы улетают, зачем оставлять их гнездо. Я велю скрыть его – за лес можно будет все-таки получить кое-что. Дом будет скрыт, и муниципалитет проведёт тут – как желал – дорогу к городской стене так, что ни один человек не будет в состоянии сказать, где стоял этот дом.

# Возвращение Имрея

Имрей выполнил невозможное... Без предупреждения, без какого-либо понятного повода, молодой, только что начинавший избранную им карьеру, он решился покинуть свет, т. е. исчезнуть с той маленькой индийской станции, где он жил.

Днём он был жив, здоров, счастлив; его видели многие в клубе. Наутро его не оказалось, и никакие поиски ни к чему не привели; так и не удалось узнать, где он находился. Он вышел из своего жилища; он не появился в назначенный час на службе, и его догкарта не было видно на общественных дорогах. По этим причинам и потому, что он, в микроскопических размерах, причинил затруднение администрации индийской империи, эта империя остановила своё внимание на одно мгновение, чтобы навести справки об участи Имрея. Обыскали пруды, исследовали источники, послали телеграммы по линиям железных дорог и в ближайший морской порт – за тысячу двести миль; но Имрея обнаружить не удалось. Он исчез, и его больше не видели обитатели станции. Потом работа великой индийской империи пошла вперёд быстрым ходом, потому что её нельзя было задерживать, и Имрей из человека превратился в тайну – в предмет разговора за столом в клубе в продолжение месяца, а затем был окончательно забыт. Его ружья, лошади и экипажи были проданы тому,



кто дал дорожке других. Его начальник написал совершенно глупое письмо матери, где говорил, что Имрей исчез непонятным образом и его бунгало стоит пустым.

Через три-четыре месяца, по окончании периода палящей жары, мой друг Стрикленд, служивший в полиции, решил нанять это бунгало у его хозяина-туземца. Это было раньше его обручения с мисс Югхель, в то время, когда он занимался изучением туземной жизни. Его собственная жизнь была довольно оригинальна, и люди жаловались на его манеры и привычки. В доме у него всегда было что поесть, но не было определённого времени для еды. Он ел, стоя и расхаживая, то, что находил в буфете, а это нехорошо для человеческого организма. Обстановка его дома ограничивалась шестью винтовками, тремя ружьями, пятью сёдлами и коллекцией больших удочек. Все это занимало одну половину бунгало, а другая была отдана Стрикленду и его собаке Тайтдженс – громадной рампурской суке, съедавшей каждый день порции двух человек. Тайтдженс разговаривала со Стриклендом на своём языке; а если, гуляя, подмечала что-нибудь, могущее нарушить покой её величества королевы-императрицы, то немедленно возвращалась к своему хозяину с донесением. Стрикленд принимал меры, и результатом его трудов были беспокойство, штрафы и заключение в тюрьму других людей. Туземцы считали Тайтдженс домовым и обращались с ней с большой почтительностью и страхом. Одна комната в бунгало была отведена специально для неё. Ей принадле-

жала кровать, одеяло, плошка для питья; если кто-нибудь приходил ночью в комнату Стриклэнда, она опрокидывала прищельца и лаяла, пока не приходил кто-нибудь со свечой. Стриклэнд был обязан ей жизнью. Однажды, на границе, когда он искал одного убийцу, тот пришёл на заре, чтобы при сером свете её отправить Стриклэнда гораздо дальше Андамских островов. Тайтдженс схватила этого человека, когда он прокрадывался в палатку Стриклэнда с кинжалом в зубах; после того, как виновность его была установлена перед законом, он был повешен. С этого дня Тайтдженс носила серебряный ошейник и на её одеяле появилась монограмма, а само одеяло было из двойного кашемирского сукна, потому что Тайтдженс была деликатная, нежная собака.

Ни при каких обстоятельствах она не разлучалась со Стриклэндом и однажды, когда он был болен лихорадкой, доставила много хлопот докторам, потому что сама не знала, как помочь своему хозяину, а никому другому не позволяла оказывать помощь. Макарат, состоявший на медицинской службе в Индии, бил её прикладом ружья по голове до тех пор, пока она не поняла, что надо дать место людям, которые могут больному давать хинин.

Вскоре после того, как Стриклэнд поселился в бунгало Имрея, мне пришлось проезжать по делу через эту станцию, и, так как все помещения в клубе были заняты, я, естественно, поместился у Стриклэнда. Бунгало было очень удобно – в восемь комнат и с крышей, так плотно покрытой соломой,

что никакой дождь не мог проникать через неё. Под крышей был натянут холст, имевший вид чисто выбеленного известковой потолка. Холст этот заменял потолок. Хозяин выбелил его заново, когда Стрикленд нанял бунгало. Тому, кто незнаком с постройкой индийских бунгало, и в голову не придёт, что над холстом находится двухскатный чердак, где балки и солома укрывают всевозможных крыс, летучих мышей, муравьёв и разный хлам.

Тайтдженс встретила меня на веранде с лаем, похожим на удар колокола собора св. Павла, и положила лапы на моё плечо, чтобы показать, как рада мне. Стрикленду удалось набрать каких-то остатков кушаний (он назвал это «ленчем»). Покончив с этим, он немедленно отправился по своим делам. Я остался один с Тайтдженс и с моими собственными делами. Летняя засуха сменилась тёплыми дождями. В разгорячённом воздухе не было ни малейшего движения, но дождь падал на землю и подымался снова вверх голубым туманом. Бамбук, яблони и манговые деревья в саду стояли тихо, а тёплая вода хлестала их; лягушки начали петь среди изгородей из алоэ. До наступления темноты, пока дождь лил всего сильнее, я сидел на задней веранде, слушал, как вода с шумом падала с крыши, и почёсывался, так как от жары у меня появилась особая сыпь. Тайтдженс вышла со мной на веранду и положила голову на мои колени; она была очень печальна. Когда поспел чай, я дал ей сухарей. Чай я пил на задней веранде, так как там было несколько прохладнее. За мо-

ей спиной темнели комнаты. Я чувствовал запах сёдел Стриклэнда и масла, которым были смазаны его ружья, и мне не хотелось сидеть среди этих вещей. В сумерках пришёл мой слуга в кисейной одежде, насквозь промокшей и плотно облегавшей тело, и сказал, что какой-то джентльмен желает видеть кого-нибудь. Очень неохотно я пошёл в пустую гостиную и велел моему слуге принести свет. Может быть, кто-нибудь действительно приходил в комнату – мне показалось, что я видел за окном какую-то фигуру, – но когда принесли свечи, там никого не было, кроме капель дождя, ударявших в окна, и запаха влажной земли, который я ощущал. Я объяснил моему слуге, что он не умнее, чем ему полагается быть, и пошёл на веранду поговорить с Тайтдженс. Она вышла под дождь, и даже с помощью осыпанных сахаром сухарей мне едва удалось уговорить её вернуться. Стриклэнд пришёл домой перед самым обедом, промокший так, что вода струилась с его одежды. Первые слова его были:

– Приходил кто-нибудь?

Я, извиняясь, объяснил, что мой слуга вызвал меня понапрасну в гостиную; а может быть, то был какой-нибудь бродяга, спросивший Стриклэнда, но потом раздумавший и убежавший. Стриклэнд без дальнейших разговоров приказал подать обед, а так как обед был настоящий, поданный на белой скатерти, то мы сели за стол.

В девять часов Стриклэнд захотел лечь спать; я также устал. Тайтдженс, которая лежала под столом, встала и на-

правилась на наименее открытую часть веранды, как только её господин вошёл в свою комнату, которая была рядом с комнатой, отведённой для Тайтдженс. Неудивительно, если бы жена вдруг вздумала спать на веранде под проливным дождём. Но ведь Тайтдженс была собака, была, значит, поумнее. Я удивился и взглянул на Стриклэнда, ожидая, что он выгонит Тайтдженс с веранды хлыстом. Он странно улыбнулся, как улыбается человек, только что рассказавший неприятную семейную тайну.

– Она делает это с тех пор, как я переехал сюда, – сказал он. – Оставьте её.

Собака принадлежала Стриклэнду, поэтому я ничего не сказал; но я понимал, что должен был чувствовать Стриклэнд при таком отношении. Тайтдженс улеглась под моим окном; порывы бури налетали один за другим, гремели по крыше и замирали вдали. Молния бороздила небо, но свет её был бледно-голубой, а не жёлтый; сквозь растрескавшиеся бамбуковые шторы я видел большую собаку. Она не спала и стояла на веранде, оцетинившись, упёршись ногами так крепко, словно железные устои на висячем мосту. Во время очень коротких пауз между раскатами грома я пробовал уснуть, но мне казалось, что моё бодрствование крайне необходимо для кого-то. Этот кто-то пробовал звать меня каким-то хриплым шёпотом. Гром замолк; Тайтдженс вышла в сад и стала выть на луну. Кто-то старался открыть мою дверь, расхаживал по дому, стоял, тяжело дыша, на веранде,

и как раз в ту минуту, как я стал засыпать, мне послышался страшный стук или крик над головой или у двери.

Я вбежал в комнату Стриклэнда и спросил его, не болен ли он и не звал ли меня? Он лежал на постели полуодетый, с трубкой во рту.

– Я думал о том, что вы придёте, – сказал он. – Вы слышали, как я обходил дом?

Я сказал, что он расхаживал по столовой, курительной комнате и в других местах; он рассмеялся и сказал, чтобы я шёл спать. Я лёг спать и проспал до утра; но все время я чувствовал, что оказываю несправедливость кому-то, не позаботившись о нем. Что ему было нужно, я не мог сказать, но кто-то, шепчущий, трогающий двери, затворы, бродящий по дому, прячущийся, упрекал меня за мою неповоротливость, и в полусне я слышал вой Тайтдженс в саду и шум дождя.

Я прожил два дня в этом доме. Стриклэнд каждый день уходил на службу, оставляя меня одного на восемь или десять часов наедине с Тайтдженс. Пока было светло, я чувствовал себя спокойно, и Тайтдженс также, но в сумерках мы с ней отправлялись на заднюю веранду и прижимались друг к другу. Мы были одни в доме, но в нем был кто-то, с кем я не желал иметь дела. Я никогда не видел его, но мог видеть, как колыхались портьеры между комнатами, по которым он только что прошёл; я слышал, как скрипели бамбуковые стулья под тяжестью только что покинувшего их тела; а когда я входил в столовую за книгой, я чувствовал, что в тени перед-

ней веранды кто-то дожидается моего ухода. Когда наступали сумерки, Тайтдженс блестящими глазами, с поднявшейся дыбом шерстью, следила за движениями чего-то невидимого мне. Она никогда не входила в комнаты, но в глазах её выражался интерес, и этого было совершенно достаточно. Только когда мой слуга приходил заправлять лампы и комната принимала светлый и обитаемый вид, она входила вместе со мной и проводила время, наблюдая за невидимым лишним человеком, двигавшимся за моим плечом. Собаки – весёлые товарищи.

Я объяснил Стрикленду, как можно любезнее, что хочу сходить в клуб и найти там себе помещение. Я восхищался его гостеприимством, мне нравились его ружья и удочки, но сам дом и царившая в нем атмосфера были неприятны мне. Он выслушал меня до конца и потом улыбнулся усталой, но не презрительной улыбкой, потому что он человек, хорошо понимающий все.

– Оставайтесь, – сказал он, – и посмотрите, что все это значит. То, о чем вы говорите, известно мне с тех пор, как я нанял бунгало. Оставайтесь и подождите. Тайтдженс уж покинула меня. Сделаете и вы то же?

Я раз принимал участие в одном его дельце, связанном с языческим идолом; дело это чуть не довело меня до сумасшедшего дома, и у меня не было желания помогать ему в дальнейших экспериментах. Это был человек, у которого неприятности были так же часты, как обеды у обыкновенных

людей.

Поэтому я повторил ещё яснее, что я очень люблю его и рад видаться с ним днём, но не желаю спать под его кровлею. Это было после обеда, когда Тайтдженс ушла на веранду.

– Клянусь душой, не удивляюсь этому, – сказал Стриклэнд, смотря на потолок. – Взгляните-ка туда.

Хвосты двух тёмных змей висели между холстом и картиной на стене. При свете лампы они отбрасывали длинные тени.

– Конечно, если вы боитесь змей... – сказал Стриклэнд.

Я ненавижу и боюсь змей, потому что если поглядеть в глаза любой змее, то увидишь, что она знает все о тайне падения человека и чувствует все презрение, которое чувствовал дьявол, когда Адам был изгнан из рая. Не говоря о том, что её укус всегда бывает роковым, но и так неприятно, когда она обвивается вокруг ног.

– Вам нужно перекрыть крышу, – сказал я. – Дайте мне вашу большую удочку, и мы сбросим их вниз.

– Они спрячутся между стропил, – сказал Стриклэнд. – Я не выношу змей над головой. Я пойду наверх, под крышу. Стойте тут; если я стряхну их, ударьте их железным прутом и перебейте им спинные позвонки.

Мне не очень хотелось помогать Стриклэнду, но все-таки я взял прут и ждал в столовой, пока Стриклэнд принёс с веранды садовую лестницу и приставил её к стене комнаты. Змеиные хвосты втянулись и исчезли. Мы слышали сухой, шуршащий звук длинных тел, ползших по спускавше-



муся в виде мешка холщовому потолку. Стрикленд взял лампу; я напрасно старался доказать ему, как опасно охотиться за змеями между холщовым потолком и соломенной крышей, не говоря уже о порче чужой собственности – прорыве холщового потолка.

– Глупости! – сказал Стрикленд. – Они, наверное, прячутся около стен, у холста. Кирпичи слишком холодны для них, а комнатное тепло – это именно то, что нравится им.

Он поднял руку, схватил край материи и потянул. Холст с шумом подался, и Стрикленд просунул через дыру голову в тёмный угол стропил. Я сжал зубы и поднял прут, в полном неведении относительно того, что может спуститься с потолка.

– Гм! – сказал Стрикленд, и голос его громко раскатился под крышей. – Тут хватит места для нескольких комнат и, клянусь Юпитером, кто-то занимает их!

– Змеи? – спросил я снизу.

– Нет. Тут целый буйвол. Дайте-ка мне удилице, ткну его. Он лежит на самой большой балке.

Я подал удочку.

– Что за гнездо для сов и змей! Нет ничего удивительного, что змеи живут тут, – сказал Стрикленд, подымаясь выше. Я видел его руку с удочкой. – Ну, выходи, кто там есть! Берегитесь! Падает вниз.

Я увидел, что потолок опускается почти в центре комнаты, словно мешок, содержимое которого заставляло его

опускаться все ниже и ниже к стоявшей на столе лампе. Я схватил лампу и встал подальше. Потолок оторвался от стен, разорвался посередине, закачался и выбросил на стол предмет, на который я не решался посмотреть. Стрикленд спустился с лестницы и встал рядом со мной.

Он ничего не сказал, так как был вообще неразговорчив, но взял один конец скатерти и прикрыл им то, что спустилось.

– Мне кажется, – проговорил он, ставя лампу, – наш друг Имрей возвратился... Так вот оно что!..

Под столом послышалось движение; оттуда выползла маленькая змея; удар удочки переломил ей спину. Мне было так дурно, что я не сделал никакого замечания.

Стрикленд пил и размышлял. То, что лежало под скатертью, не проявляло признаков жизни.

– Это Имрей? – сказал я.

Стрикленд откинул на одно мгновение скатерть и взглянул.

– Это Имрей, – сказал он, – и горло у него перерезано от уха до уха.

Тут мы оба сказали друг другу и самим себе:

– Вот почему в доме кто-то ходил.

Тайтдженс бешено залаяла в саду. Несколько позже она открыла своим большим носом дверь в столовую.

Она втянула в себя воздух и остановилась. Разорванный холст потолка свисал почти до стола, и между ним и наход-

кой оставался самый маленький промежуток.

Тайтдженс вошла и села. Она оскалила зубы и упёрлась передними лапами в пол. Взглянула на Стриклэнда.

– Плохо дела, старуха, – сказал Стриклэнд, – люди не влезают на крышу своих бунгало, чтобы умереть, и не натягивают холст, чтобы прикрыть себя. Следует хорошенько обдумать все.

– Обдумаем где-нибудь в другом месте, – сказал я.

– Превосходная идея! Потушите лампы. Мы пойдём в мою комнату.

Я не потушил ламп. Я вошёл первым в комнату Стриклэнда, предоставив ему заняться этим делом. Потом пришёл он, мы закурили трубки и стали думать. Стриклэнд размышлял. Я курил отчаянно, потому что мне было страшно.

– Имрей вернулся, – сказал Стриклэнд. – Вопрос в том, кто убил Имрея? Не говорите; у меня есть своё мнение. Когда я взял это бунгало, я вместе с тем взял и большинство слуг Имрея. Имрей был простодушный, безобидный человек, не так ли?

Я ответил утвердительно; хотя груда под простыней не имела ни простодушного, ни безобидного вида.

– Если позвать всех слуг, они столпятся и станут лгать, как истые арийцы. Что посоветуете вы?

– Зовите их поодиночке.

– Они убегут и расскажут новость всем своим товарищам, – сказал Стриклэнд. – Нужно разделить их. Как вы думаете?

маете, известно что-нибудь вашему слуге?

– Не знаю, может быть; хотя не думаю. Он пробыл здесь только два-три дня, – ответил я. – А вы что думаете?

– Не могу сказать ничего определённого. Черт возьми, как мог человек попасть по ту сторону потолка?

За дверь спальни Стрикленда послышался тяжёлый кашель. Это означало, что его слуга Багадур-Хан проснулся и желает уложить спать Стрикленда.

– Войди, – сказал Стрикленд. – Очень жаркая ночь, не правда ли?

Багадур-Хан, магометанин в зеленом тюрбане, шести футов роста, сказал, что ночь очень жаркая, но что находят дожди, которые по милости неба принесут облегчение стране.

– Если будет угодно Богу, – сказал Стрикленд, стаскивая сапоги. – У меня тяжело на душе из-за того, что я так безжалостно заставил тебя работать в продолжение многих дней – с самого того времени, что ты поступил на службу ко мне. Когда это было?

– Разве небеснорожденный забыл? Это было, когда Имрей-сахиб тайно отправился в Европу, никого не предупредив, а я – я имел честь поступить на службу к покровителю бедных.

– А Имрей-сахиб отправился в Европу?

– Так говорят его слуги.

– Ты поступишь на службу к нему, если он вернётся?

– Конечно, сахиб. Он был добрый господин и любил своих

людей.

– Это правда. Я очень устал, а завтра пойду охотиться на оленей. Дай мне маленькое ружьё, которое я беру для такой охоты; оно вон там, в футляре.

Багадур-Хан нагнулся над футляром, подал ствол ружья и прочие его части Стриклэнду, который стал прилаживать все эти принадлежности, отчаянно зевая. Потом со дна футляра он вынул патрон и вложил его в ружьё.

– Так Имрей-сахиб тайно уехал в Европу? Это очень странно, не правда ли, Багадур-Хан?

– Как мне знать об обычаях белых людей, небеснорожденный?

– Конечно, ты знаешь очень мало. Но сейчас узнаешь больше. До меня дошли слухи, что Имрей-сахиб вернулся из своего продолжительного путешествия и в настоящую минуту лежит рядом в комнате, ожидая своего слугу.

– Сахиб!..

Свет лампы скользнул по дулу ружья, приставленному к широкой груди Багадур-Хана.

– Иди и посмотри! – сказал Стриклэнд. – Возьми лампу. Твой господин устал и ожидает тебя. Иди!

Багадур-Хан взял лампу и пошёл в столовую. Стриклэнд шёл за ним, слегка подталкивая его дулом ружья. Багадур-Хан взглянул на чёрные глубины за упавшим холстом, на змею, извивавшуюся на полу; затем – и тут лицо его приняло серый оттенок – на предмет, лежавший под простыней.

– Ты видел? – после некоторого молчания спросил Стрикленд.

– Я видел. Я – глина в руках белого человека. Что делает высокий господин?

– Повесит тебя через месяц. Что же иное?

– За то, что я убил его? Нет, сахиб, подумай. Гуляя среди нас, его слуг, он обратил внимание на моего ребёнка, которому было четыре года. Он сглазил его, и через десять дней ребёнок умер от лихорадки. Он, моё дитя!

– Что сказал Имрей-сахиб?

– Он сказал, что ребёнок красив, и погладил его по голове; от этого дитя моё умерло. Поэтому я убил Имрея-сахиба в сумерки, когда он вернулся со службы и уснул. Потом я втащил его на стропила и заделал потолок. Небеснорожденный знает все. Я слуга небеснорожденного.

Стрикленд взглянул на меня поверх винтовки и сказал на местном наречии:

– Ты будешь свидетелем его слов? Он убил.

При свете одинокой лампы Багадур-Хан стоял смертельно бледный. Сознание необходимости оправдаться быстро вернулось к нему.

– Я попался в ловушку, – сказал он, – но вина лежит на том человеке. Он сглазил моего ребёнка, и я убил и спрятал его. Только те, кому служат дьяволы, – он посмотрел яростным взглядом на Тайтдженс, угрюмо лежавшую перед ним, – только те могли узнать, что я сделал.

– То-то!.. Тебе следовало бы подвесить и её на верёвке на балку. А теперь тебя самого повесят на верёвке. Дежурный!

Сонный полицейский явился на его зов. За ним вошёл другой. Тайтдженс сидела поразительно тихо.

– Уведите его в полицейский участок, – сказал Стриклэнд. – Его будут судить.

– Значит, я буду повешен? – сказал Багадур-Хан, не пытаясь бежать и опустив глаза в пол.

– Как солнце сияет и вода течёт – да! – сказал Стриклэнд. Багадур-Хан отступил далеко назад, вздрогнул и остановился. Полицейские ожидали дальнейших приказаний.

– Ступайте! – сказал Стриклэнд.

– Да; я уйду очень быстро, – сказал Багадур-Хан. – Взгляните! Я уже мёртвый человек.

Он поднял ногу. К его пятке приникла голова полураздавленной змеи, крепко вцепившейся в тело в судорожной агонии.

– Я из земледельческого рода, – сказал, покачиваясь, Багадур-Хан. – Для меня было бы позорно взойти публично на эшафот; поэтому я избираю этот путь. Обратите внимание, что рубашки сахиба аккуратно подсчитаны, а в рукомоёмнике есть лишний кусок мыла. Мой ребёнок был заморожен, и я убил колдуна. Зачем вам пытаться убить меня верёвкой? Моя честь спасена... и... я умираю.

Через час он умер, как умирают укушенные маленькой тёмной змеёй карайт, и полицейские отнесли его и таин-

ственный предмет под простыней в назначенные им места. И то, и другое было нужно, чтобы объяснить исчезновение Имрея.

– Это называется девятнадцатым веком, – очень спокойно, влезая на кровать, сказал Стриклэнд. – Слышали вы, что говорил этот человек?

– Слышал, – ответил я. – Имрей сделал ошибку.

– Единственно из-за незнания природы восточного человека и совпадения этого случая с появлением обычной сезонной лихорадки. Багадур-Хан служил у него четыре года.

Я вздрогнул. Именно столько же времени служил у меня мой слуга. Когда я прошёл к себе в комнату, я увидел его, ожидавшего меня, чтобы снять сапоги, с лицом, лишённым всякого выражения, словно изображение головы на медном пенни.

– Что случилось с Багадур-Ханом? – сказал я.

– Его укусила змея, и он умер. Остальное известно сахибу, – последовал ответ.

– А что знал ты об этом деле?

– Столько, сколько можно узнать от того, кто выходит в сумерки искать удовлетворения. Осторожнее, сахиб. Позвольте мне снять вам сапоги.

Я только что стал засыпать от утомления, как услышал, что Стриклэнд крикнул мне с другой стороны дома:

– Тайтдженс вернулась на своё место!

Так и было. Большая охотничья собака величественно



возлежала на своей постели, на своём одеяле, а рядом в комнате пустой холст с потолка, раскачиваясь, тянулся по полу.

# Финансы богов

Ужин в чубаре Дхуини Бхагата<sup>4</sup> закончился, и старые жрецы курили или перебирали чётки. Вышел маленький голый ребёнок с широко открытым ртом, с пучком ногтей в одной руке и связкой сушёного табака в другой. Он попробовал встать на колени и поклониться Гобинду, но так как был очень толст, то упал вперёд на свою бритую головку и покати́лся в сторону, барахтаясь и задыхаясь, причём ногти отлетели в одну сторону, а табак в другую. Гобинд рассмеялся, поставил мальчика на ноги и, приняв табак, благословил цветы.

– От моего отца, – сказал ребёнок. – У него лихорадка, и он не может прийти. Ты помолишься о нем, отец?

– Конечно, крошка; но на земле туман, а в воздухе ночной холод и осенью не хорошо ходить голым.

– У меня нет одежды, – сказал ребёнок, – сегодня утром я все время носил кизяк на базар. Было очень жарко, и я очень устал.

Он слегка вздрогнул, потому что было прохладно.

Гобинд вытянул руку из-под своего громадного, разноцветного старого одеяла и устроил привлекательное гнёздышко рядом с собой. Ребёнок юркнул под одеяло. Гобинд

---

<sup>4</sup> Чубара Дхуини Бхагата – монастырь в северной Индии.

наполнил свою кожаную, отделанную медью трубку новым табаком. Когда я пришёл в чубару, обритая головка с пучком волос на маковке и похожими на бисеринки чёрными глазами выглядывала из-под складок одеяла, как белка выглядывает из своего гнёзда. Гобинд улыбался, когда ребёнок теревил его бороду.

Мне хотелось сказать что-нибудь ласковое, но я вовремя вспомнил, что в случае, если ребёнок захворает, скажут, что у меня дурной глаз, а обладать этим свойством ужасно.

– Лежи смирно, непоседа, – сказал я, когда ребёнок хотел подняться и убежать. – Где твоя аспидная доска, и почему учитель выпустил на улицу такого разбойника, когда там нет полиции, чтобы защитить нас, бедных? Где ты пробуешь сломать себе шею, пуская змея с крыш?

– Нет, сахиб, нет, – сказал ребёнок, пряча лицо в бороду Гобинда и беспокойно вертясь. – Сегодня в школе праздник, и я не всегда пускаю змея. Я играю, как и все другие, в керликет.

Крикет – национальная игра на открытом воздухе пенджабских ребят: от голых школьников, использующих старую жестянку из-под керосина вместо ворот, до студентов университета, стремящихся стать чемпионами.

– Ты-то играешь в керликет! А сам ты вдвое меньше ворот, – сказал я.

Мальчик решительно кивнул головой.

– Да, играю. Я знаю все, – прибавил он, коверкая выраже-

ния, употребляемые при игре в крикет.

– Но, несмотря на это, ты не должен забывать молиться богам как следует, – сказал Гобинд, не особенно одобрявший крикет и западные нововведения.

– Я не забываю, – сказал ребёнок тихим голосом.

– А также относиться с уважением к твоему учителю и, – голос Гобинда стал мягче, – не дёргать святых за бороду, маленький егоза... Э, э, э?

Лицо ребёнка совершенно спряталось в большой седой бороде; он захныкал. Гобинд утешил его – как утешают детей на всем свете – обещанием рассказать сказку.

– Я не хотел пугать тебя, глупенький. Взгляни. Разве я сержусь? Аре, аре, аре! Не заплакать ли и мне? Тогда из наших слез образуются большой пруд и утопит нас обоих, и тогда твой отец никогда не поправится, потому что ему не будет хватать тебя и некому будет теребить его за бороду. Успокойся, успокойся; я расскажу тебе о богах. Ты слышал много рассказов?

– Очень много, отец.

– Ну, так вот новый, которого ты не слышал. Давным-давно, когда боги ходили между людьми – как и теперь, только у нас нет достаточно веры, чтобы видеть это, – Шива, величайший из богов, и Парбати, его жена, гуляли в саду одного храма.

– Которого храма? Того, что в квартале Нандгаон? – сказал ребёнок.

– Нет, очень далеко. Может быть, в Тримбаке или Хурдваре, куда ты должен отправиться в паломничество, когда вырастешь. В саду под ююбами сидел нищий, который поклонялся Шиве в течение сорока лет; жил он приношениями благочестивых людей и день и ночь был погружён в святые размышления.

– О, отец, это был ты? – сказал ребёнок, смотря на него широко раскрытыми глазами.

– Нет, я сказал, что это было давно, и к тому же нищий был женат...

– Посадили его на лошадь с цветами на голове и запретили ему спать целую ночь? Так сделали со мной, когда праздновали мою свадьбу, – сказал ребёнок, которого женили несколько месяцев назад.

– А что ты делал?

– Я плакал и меня бранили; тогда я ударил её, и мы заплакали вместе.

– Нищий этого не делал, – сказал Гобинд, – потому что он был святой человек и очень бедный. Парбати увидела его сидящего голым у лестницы храма, по которой все подымались и спускались, и сказала Шиве: «Что подумают люди о богах, когда боги так презрительно относятся к своим поклонникам? Этот человек молился нам сорок лет, а перед ним только несколько зёрен риса и сломанных каури.<sup>5</sup> От этого очерствеют сердца людей». Шива сказал: «Будет обращено

---

<sup>5</sup> Раковины, имеющие значение денег.

внимание, – и он крикнул в храме, который был храмом его сына Ганеша, с головой слона: – Сын, тут у храма сидит нищий, который очень беден. Что ты сделаешь для него?» Тогда великий бог с большой слоновьей головой проснулся во тьме и ответил: «Через три дня, если тебе угодно, у него будет лак рупий». Тогда Шива и Парбати ушли. Но среди золотоцветов в саду скрывался один ростовщик, – ребёнок взглянул на кучу смятых цветов в руках, – да, среди жёлтых цветов, – и он услышал разговор богов. Он был жадный человек с чёрным сердцем и захотел взять себе лак рупий. Тогда он пошёл к нищему и сказал ему: «Сколько дают тебе каждый день благочестивые люди, брат мой?» Нищий ответил: «Не могу сказать. Иногда немного рису, немного овощей и несколько раковин; случалось давали и маринованные плоды мангового дерева, и вяленую рыбу».

– Это вкусно, – сказал, облизываясь, ребёнок.

– Тогда ростовщик сказал: «Так как я долго следил за тобой и полюбил тебя и твоё терпение, то я дам тебе пять рупий за все, что ты получишь в три следующих дня. Но тут надо подписать одно условие». Но нищий сказал: «Ты безумен. Я не получу пяти рупий и за два месяца». Вечером он рассказал все своей жене. Так как она была женщина, то заметила: «Разве бывает, чтобы ростовщик вступил в невыгодную для себя сделку? Волк бежит по ниве ради толстого, жирного оленя. Наша судьба в руках божиих. Не давай ему обещания даже на три дня».

Нищий вернулся и сказал ростовщику, что не согласен. Злой человек просидел с ним целый день, предлагая все большую и большую цену за трехдневную выручку. Сначала десять, пятьдесят, сто рупий; потом – так как он не знал, когда боги ниспошлют свои дары – он стал предлагать рупии тысячами, пока не дошёл до пол-лака. Тут жена нищего изменила свой совет; нищий подписал условие, и деньги были уплачены серебром; большие белые волю привезли их в повозке. Но кроме этих денег нищий ничего не получил от богов, и на сердце у ростовщика была тревога. Поэтому в полдень третьего дня ростовщик пошёл в храм, чтобы подслушать совет богов, и узнать, каким образом нищий получит их дар. Когда он молился, в камнях пола открылась трещина и захватила его за пятку. Он услышал богов, ходивших во мраке колонн. Шива крикнул своему сыну Ганешу: «Сын, что сделал ты относительно лака рупий для нищего?» Ганеша, должно быть, проснулся, потому что ростовщик услышал глухой шум развёртывавшегося хобота, и ответил: «Отец, половина денег уплачена, а должника, который должен уплатить другую половину, я крепко держу за пятку».

Ребёнок умирал со смеху.

– И ростовщик заплатил нищему? – спросил он.

– Конечно: тот, кого боги держат за пятку, должен уплатить все целиком. Деньги были уплачены серебром вечером же и привезены в больших повозках. Так Ганеша сделал своё

дело.

– Нату! Огэ, Нату!

У калитки во двор какая-то женщина кричала в темноте. Ребёнок беспокойно задвигался.

– Это моя мать, – сказал он.

– Иди, крошка, – сказал Гобинд, – впрочем, подожди минутку.

Он щедрой рукой оторвал кусок от своего заштопанного одеяла и накинул его на плечи Нату. Ребёнок убежал.



# Мятежник Моти Гудж

Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой серединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело. Лучшие из слонов принадлежали худшим из погонщиков, или магутов. Лучшего из слонов звали Моти Гудж. Он был в полном владении своего магута, а этого никогда бы не могло быть в области, состоящей под управлением туземцев, потому что Моти Гудж был таков, что владеть им пожелали бы и цари; в переводе его имя означало «жемчужина слонов». В стране царило британское управление, и Дееса, его магут, безнаказанно пользовался своей собственностью. Он вёл рассеянную жизнь. Когда ему случалось много заработать, благодаря силе своего слона, он напивался вдребезги и бил Моти Гуджа колом по нежным ногтям передних ног. Моти Гудж никогда не трогал его – хотя и мог бы затоптать его до смерти, – потому что знал, что Дееса, отколотив его, станет потом обнимать его хобот, плакать, называть его своим воз-

любленным, своей жизнью, жизнью своей души, и даст ему какого-нибудь спиртного напитка. Моти Гудж очень любил спиртные напитки, в особенности арак, хотя не пренебрегал и пальмовым вином. Потом Дееса располагался спать между передними ногами Моти Гуджа, а так как Дееса избирал для этого середину дороги, а Моти Гудж сторожил его покой, не позволяя никому ни проходить, ни проезжать мимо, то движение прекращалось, пока Дееса не соизволит проснуться.

На работе у плантатора днём спать было нельзя; слишком велик был заработок, чтобы рисковать им. Дееса сидел на шее у Моти Гуджа и отдавал ему приказания; Моти Гудж выкапывал корни, потому что у него была пара чудесных клыков, или тянул конец верёвки, потому что у него были великолепные плечи, а Дееса хлопал его за ушами и говорил, что он царь слонов. Вечером Моти Гудж смачивал триста фунтов съеденной им зелени четвертой арака, в чем принимал участие Дееса, который распевал песни между ногами своего слона, пока не наступало время ложиться спать. Раз в неделю Дееса водил Моти Гуджа к реке, и Моти Гудж с наслаждением растягивался на мелководе, а Дееса мыл его кокосовой шваброй и кирпичом. Моти Гудж никогда не смешивал удара последнего с ударом первой, который обозначал, что ему надо встать и перевернуться на другой бок. Потом Дееса осматривал его ноги, глаза, отворачивал бахрому его могучих ушей, рассматривал, нет ли где болячек, не начинается

ли воспаление глаз. После осмотра оба с песнями выходили из воды; Моти Гудж, весь чёрный и блестящий, размахивал оторванной веткой в двенадцать футов длины, которую нёс в хоботе; Дееса закручивал свои длинные, мокрые волосы.

Жизнь Деесы была мирная, хорошо оплачиваемая, пока он не почувствовал желания хорошенько напиться. Ему захотелось оргии. Небольшие, ни к чему не ведущие выпивки окончательно лишали его бодрости.

Он пошёл к плантатору.

– Моя мать умерла, – с плачем сказал он.

– Она умерла два месяца тому назад; и умерла ещё раз, раньше, когда ты работал у меня в последний раз, – сказал плантатор, несколько знакомый с обычаями туземцев.

– Умерла моя тётка, а она была второй матерью для меня, – сказал Дееса, ещё сильнее заливаясь слезами. – Она оставила без хлеба восемнадцать маленьких детей, и я должен наполнять их желудки, – сказал Дееса, ударяясь головой об пол.

– Кто принёс тебе это известие? – сказал плантатор.

– Почта, – сказал Дееса.

– Почта не приходила сюда целую неделю. Иди на работу.

– Страшная болезнь напала на мою деревню, и все мои жены умирают, – на этот раз с искренними слезами громко завопил Дееса.

– Позовите Чихуна, он из одной деревни с Деесой, – сказал плантатор. – Чихун, есть у этого человека жена?

– У него? – сказал Чихун. – Нет. Ни одна женщина в нашей деревне не захочет и взглянуть на него. Они скорее вышли бы замуж за слона.

Он резко рассмеялся.

Дееса плакал и кричал.

– Даю тебе сроку ещё одну минуту. Смотри, тебе будет плохо! – сказал плантатор. – Ступай работать!

– Теперь я скажу истинную правду, – задыхаясь, в порыве вдохновения, сказал Дееса. – Я не был пьян в течение двух месяцев. Я хочу уйти отсюда и напиться как следует, вдали от этой благословенной плантации. Таким образом я не причиню никакого беспокойства.

Улыбка мелькнула на лице плантатора.

– Дееса, – проговорил он, – ты сказал правду, и я сейчас отпустил бы тебя, если бы можно было справиться с Моти Гуджем в твоё отсутствие. Ты знаешь, что он слушается только твоих приказаний.

– Да живёт Свет Неба, – воскликнул Дееса, – сорок тысяч лет! Я удалюсь только на десять коротких дней. Потом – клянусь верой, честью и душой – я вернусь. А что касается этого незначительного промежутка времени, то не даст ли мне небеснорожденный милостивого разрешения позвать сюда Моти Гуджа?

Разрешение было дано, и в ответ на пронзительный крик Деесы величественный слон появился из группы тенистых деревьев, где он обрызгивал себя водяной пылью в ожидании

возвращения своего хозяина.

– Свет моего сердца, покровитель пьяных, гора могучей силы, преклони твоё ухо, – сказал Дееса, становясь перед ним.

Моти Гудж преклонил ухо и отсалютовал хоботом.

– Я ухожу, – сказал Дееса.

Глаза Моти Гуджа заблестели. Он так же любил прогулки, как и его хозяин. По дороге всегда можно ухватить какой-нибудь лакомый кусочек.

– Но ты, старый кабан, должен остаться здесь и работать.

Блеск глаз исчез, хотя Моти Гудж и старался казаться восхищённым. Он ненавидел корчевать пни на плантации. От этой работы у него болели зубы.

– Я уйду на десять дней. О, усладитель! Подними-ка переднюю ногу, и я заставлю тебя помнить это, бородавчатая жаба из высохшей грязной лужи.

Дееса взял кол от палатки и ударил десять раз по ногам Моти Гуджа. Моти Гудж заворчал и стал переминаться с ноги на ногу.

– Десять дней ты должен работать, – сказал Дееса, – таскать и выкапывать корни, как тебе прикажет Чихун. Возьми Чихуна и посади его себе на шею!

Моти Гудж подвернул конец хобота, Чихун поставил на него ногу и был поднят на шею слона. Дееса подал Чихуну анкас – железную палку, которой управляют слоном.

Чихун ударил ею по лысой голове Моти Гуджа, как мо-

стильщик ударяет по камням.

Моти Гудж затрубил.

– Молчи, кабан диких лесов! На десять дней Чихун твой магут. А теперь прощай, скотина моего сердца. О, мой владыка, мой царь! Жемчужина всех когда-либо созданных слонов, лилия стада, береги своё почтённое здоровье; будь добродетелен. Прощай!

Моти Гудж обвил Деесу хоботом и дважды подкинул его в воздухе. Таким образом он простился с хозяином.

– Теперь он будет работать, – сказал Дееса плантатору. – Можно мне идти?

Плантатор утвердительно кивнул головой, и Дееса юркнул в лес. Моти Гудж отправился корчевать пни.

Чихун был очень добр к нему, но он все же чувствовал себя несчастным и одиноким. Чихун давал ему лакомства, щекотал его под подбородком; маленький ребёнок Чихуна играл с ним после работы, а жена Чихуна называла его милочкой. Но Моти Гудж был убеждённый холостяк, как и Дееса. Он не понимал семейных чувств. Он жаждал возвращения того, что составляло для него свет жизни, – пьянства и пьяницы-хозяина, диких побоев и диких ласк.

Тем не менее он хорошо работал. Плантатор удивлялся. Дееса бродяжничал по дорогам, пока не встретил свадебной процессии людей своей касты. В попойках и танцах время летело незаметно.

Наступило утро одиннадцатого дня. Дееса не вернулся.

Моти Гуджа выпустили для обычного отдыха. Он отряхнулся, оглянулся вокруг, пожал плечами и пошёл, словно у него было какое-то дело в другом месте.

– Ги! Ги! Вернись! – кричал Чихун. – Вернись и посади меня к себе на шею, злополучнорожденный на горе мне! Вернись, великолепие горных склонов! Украшение всей Индии, вернись, а не то я отобью все пальцы твоей толстой передней ноги.

Моти Гудж кротко пробурчал что-то, но не повиновался. Чихун побежал за ним с верёвкой и чуть не поймал его. Моти Гудж вытянул уши. Чихун знал, что это означало, хотя и пытался настоять на своём, прибегая к ругательствам.

– Со мной нельзя шутить! – сказал он. – На место, дьявольский сын!

– Хррум! – сказал только Моти Гудж и втянул уши.

Моти Гудж принял самый беспечный вид, пожевал ветку вместо зубочистки и стал разгуливать, подсмеиваясь над другими слонами, только что принявшимися за работу.

Чихун сообщил о положении дел плантатору. Тот пришёл с хлыстом для собак и стал бешено хлопать им. Моти Гудж оказал любезность белому человеку, прогнав его по просеке на протяжении почти четверти мили и затем загнав его с громким «хррум» на веранду. Потом он остановился перед домом, посмеиваясь про себя и трясясь от веселья, как это бывает со слонами.

– Надо хорошенько вздуть его! – сказал плантатор. – Так

его отколотить, как никогда ещё не колотили слона. Дайте Кала Нагу и Назиму по двенадцатифутовой цепи и скажите, чтобы они дали ему по двадцати ударов.

Кала Наг – что значит Чёрный Змей – и Назим были двое из самых больших слонов в имении. Одной из их обязанностей было наказывать виновных, так как ни один человек не в состоянии побить слона как следует.

Они взяли цепи в хоботы и, гремя ими, направились к Моти Гуджу, намереваясь стать по бокам его. Никогда, за все его тридцать девять лет, Моти Гуджа не били цепями, и он вовсе не намеревался испытывать новые ощущения. Поэтому он стоял в ожидании, покачивая головой справа налево и приглядываясь, где бы поглубже вонзить клыки в жирный бок Кала Нага. У Кала Нага клыков не было; цепь была знаком его власти. В последнюю минуту он счёл за лучшее отойти подальше от Моти Гуджа и сделал вид, как будто он принёс цепи ради потехи. Назим повернулся и поскорее пошёл домой. В этот день он не чувствовал себя готовым к битве. Таким образом, Моти Гудж остался один и стоял, насторожив уши.

Эти обстоятельства заставили плантатора отказаться от внушений, и Моти Гудж возобновил свои наблюдения за просекой. Справиться со слоном, не желающим работать и не привязанным, не так легко, как с оторвавшейся во время сильной бури на море пушкой в восемьдесят одну тонну. Он ударял по спине старых друзей и спрашивал, легко ли вы-



таскиваются пни; он болтал чепуху о работе и неоспоримых правах слонов на продолжительный полуденный отдых. Он разгуливал взад и вперёд, деморализуя всех, до заката солнца, когда вернулся поесть в свою загородку.

– Если не хочешь работать, то не будешь и есть, – сердито сказал Чихун. – Ты дикий слон, а вовсе не воспитанное животное. Отправляйся в свои джунгли!

Маленький смуглый ребёнок Чихуна, катавшийся на полу хижины, протянул свои толстые ручонки к громадной тени у порога. Моти Гудж отлично знал, что этот ребёнок – существо самое дорогое на свете для Чихуна. Он протянул хобот, соблазнительно изогнув его на конце, и смуглый ребёнок с громким, радостным криком бросился на него. Моти Гудж осторожно усадил его и поднял так, что ребёнок очутился в воздухе, на высоте двенадцати футов.

– Великий Вождь! – сказал Чихун. – Двенадцать пирогов из лучшей муки, в два фута длины, пропитанные ромом, немедленно будут твоими; кроме того, двести фунтов только что срезанного сахарного тростника. Соблаговоли только спустить на землю в безопасности этого ничего не стоящего мальчишку, моё сердце и моя жизнь!

Моти Гудж удобно устроил смуглого ребёнка между своими передними ногами, которые могли бы разнести на зубочистки всю хижину Чихуна, и стал дожидаться еды. Он поел; смуглый ребёнок прополз между его ногами. Моти Гудж дремал и думал о Деесе. Одна из многих тайн в жизни слона

состоит в том, что его громадное тело нуждается во сне менее всех остальных живых существ. Ночью ему достаточно для сна четырех-пяти часов – два часа как раз перед полуночью он спит, лёжа на одном боку; два, ровно после часа ночи, – на другом. Остаток часов отдыха заполнен едой, перемином с ноги на ногу и ворчливыми монологами.

В полночь Моти Гудж вышел из своей загородки, потому что ему пришла мысль, не лежит ли Дееса, пьяный, где-нибудь в тёмном лесу, где никто не может присмотреть за ним. Всю ночь он искал его среди зарослей, ревел, трубил и хлопал ушами. Он спустился к реке и бродил по отмелям, куда Дееса водил его мыться; трубил, но не получал ответа. Найти Деесу он не мог, но привёл в беспокойство всех слонов в округе и чуть не до смерти напугал цыган в лесах.

На заре Дееса вернулся на плантацию. Он был сильно пьян и боялся неприятностей за опоздание. Он вздохнул с облегчением, когда увидел, что бунгало и плантация не повреждены: он хорошо знал нрав Моти Гуджа. Он явился к плантатору с низкими поклонами и всевозможными лживыми извинениями. Моти Гудж ушёл завтракать в свою загородку. Он очень проголодался от своих ночных походов.

– Позови свою скотину, – сказал плантатор.

Дееса крикнул на таинственном слоновьем языке, который, как полагают некоторые магуты, зародился в Китае при сотворении мира, когда господами мира были слоны, а не люди. Моти Гудж услышал этот крик и пришёл. Слоны не га-

лопируют. Они передвигаются с места на место разными аллюрами. Если бы слон захотел догнать поезд-экспресс, он не стал бы галопировать, но мог бы догнать его. Поэтому Моти Гудж очутился у дверей дома плантатора прежде, чем Чихун заметил, что слон вышел из своей загородки. Он упал в объятия Деесы, затрубив от радости. Человек и животное плакали, распустив слюни, и ощупывали друг друга с головы до ног, чтобы убедиться, не пострадал ли кто-либо из них.

– Теперь пойдём работать, – сказал Дееса. – Подыми меня, сын мой, моя радость!

Моти Гудж вскинул его к себе на спину, и оба направились к месту расчистки, чтобы поискать пни, которые нужно было выкорчевать.

Плантатор был слишком удивлён для того, чтобы сильно рассердиться.

# Город страшной ночи

Удушливая, влажная жара, нависшая над страной, словно мокрая простыня, лишала всякой надежды на сон. Цикады словно помогали жару, а кричащие шакалы помогали им. Невозможно было спокойно сидеть в тёмном пустом доме, где раздавалось эхо. Поэтому в десять часов вечера я воткнул посередине сада мою трость и смотрел, в какую сторону она упадёт. Она указала как раз на залитую лунным светом дорогу в город Страшной Ночи. Звук падения трости испугал зайца. Он выбежал, хромя, из своей норы и перебежал на старое магометанское кладбище, где лишённые челюстей черепа и круглые берцовые кости, бессердечно обнажённые июльскими дождями, блестели, словно перламутр, на пропитанной дождями земле. Раскалённый воздух и тяжёлая земля выгнали наружу, в поисках прохлады, даже мертвецов. Заяц, хромя, продолжал бежать; с любопытством понюхал он осколок закопчённого лампового стекла и исчез в тени тамарисковой рощицы.

Хижина ткача циновок у ограды индусского храма была полна спящих людей, казавшихся мертвецами, прикрытыми простынями. Наверху сверкал немигающий глаз луны. Темнота даёт, по крайней мере, иллюзию прохлады. Трудно было поверить, что поток света, лившийся сверху, не приносил теплоты. Не так горяч он, как лучи солнца, но все же болез-

ненно тёпел и слишком сильно нагревает тяжёлый воздух. Прямая, словно полированная стальная полоса, дорога вела к городу Страшной Ночи. По обеим сторонам дороги лежали трупы, расположенные на ложах в самых фантастических позах. Некоторые из них, с подвязанными ртами, были укутаны в белые покрывала; другие обнажены и черны, как чёрное дерево при ярком освещении; один – серебристо белый и землистый – лежал лицом кверху, с отвисшею челюстью, вдали от других.

«Спящий прокажённый; а остальные – усталые кули, слуги, мелкие торговцы и возницы с ближайшей биржи. Место действия – главный путь к городу Лагору в жаркую августовскую ночь». Вот все, что было видно; но далеко не все, что можно видеть. Очарование лунного света было повсюду, и мир странно изменился. Длинный ряд обнажённых мертвецов, сбоку которых стояла суровая серебряная статуя, был неприятен для взгляда. Тут были только мужчины. Неужели женщины обречены спать, как попало, под покровомдушных глиняных хижин? Печальный стон ребёнка, раздавшийся из-под низкой глиняной крыши, ответил на этот вопрос. Там, где дети, должны быть и матери, чтобы присматривать за ними. Дети требуют заботливого ухода в эти душные ночи. Маленькая чёрная круглая головка выглянула из-за стены и худая – жалко худая – смуглая ножка показалась на жёлобе крыши. Раздался громкий звон стеклянных браслетов; женская рука на одно мгновение появилась над парапетом,

обвилась вокруг худенькой шейки и стащила сопротивлявшегося ребёнка под полог постели. Слабый крик на высоких нотах замер в тяжёлом воздухе почти тотчас, как родился: даже дети в этой местности слишком чувствуют жару, чтобы плакать.

Ещё трупы; ещё залитая лунным светом белая дорога; убегающие шакалы; ряд спящих у дороги верблюдов; спящие пони со сбруей на спине; обитые медью деревянные повозки, словно подмигивающие при лунном свете, и снова трупы. Где только есть тень – от поднятой повозки с зерном, от пня дерева, отёсанного чурбана, пары бамбуковых стволов, нескольких пригоршней соломы, – всюду земля покрыта ими. Они лежат в пыли, при ярком свете луны; некоторые лицом вниз, со сложенными руками; некоторые с руками, закинутыми за голову; иные – прижав голову к коленям. Хорошо было бы, если бы они храпели; но они не храпят, и сходство с трупами нарушается только одним отличием: худые собаки обнюхивают тела и уходят. То тут, то там крошечный ребёнок лежит на ложе отца, покровительственно обнимающего его. Но большей частью дети спят с матерями на крышах домов. Желтокожие парии с белыми зубами не допускаются близко к смуглым телам.

Жгучий, удушливый порыв ветра от врат Дели почти заставил меня изменить намерение войти в город Страшной Ночи в этот час. То была смесь всяких дурных запахов, животных и растительных, которые днём и ночью накаплива-

ются в обнесённом стенами городе. За городскими стенами, в неподвижных рощах смоковниц и померанцевых деревьев, воздух, по сравнению с городом, кажется прохладным. Да поможет Бог всем больным и малым детям в городе в эту ночь! Высокие стены домов яростно испускают тепло, и из темноты несутся зловонные испарения, могущие отравить буйвола. Но буйволы не обращают на это внимания. Целое стадо их бредёт по пустынной главной улице; по временам они останавливаются, прижимаются своими громадными мордами к запертым ставням лавки хлебного торговца и громко пыхтят.

Потом наступает безмолвие – безмолвие, полное ночных шумов большого города. Раздаются еле-еле слышные звуки какого-то струнного инструмента. Высоко над моей головой кто-то открывает окно, и скрип его рамы повторяет эхо пустой улицы. На одной из крыш громко звучит хукка, и под её звук тихо разговаривают люди. Иду дальше, и разговор доносится более отчётливо. Полоса света виднеется между слегка раздвинутыми ставнями лавки. Внутри её купец со щетинистой бородой, с усталыми глазами подводит баланс в своих счётных книгах, окружённый тюками ситца. Три укутанных в покрывала фигуры по временам обмениваются с ним замечаниями. Сначала он заносит что-то в книгу, потом делает какое-то замечание; потом проводит ладонью по лбу, с которого струится пот. Жара в застроенной улице страшная. Внутри лавки она должна быть почти невыносимой. Но

работа идёт беспрерывно: запись, гортанная воркотня и постоянный жест руки, проводимой по лбу, повторялись с точностью часового механизма.

Полицейский, без тюрбана, в глубоком сне, лежит на дороге по пути к мечети Вазир-Хана. Полоса лунного света падает на лоб и глаза спящего, но он не двигается. Близка полночь, а жара становится как будто ещё сильнее. Открытая площадь перед мечетью полна трупами; приходится выбирать путь, чтобы не наступить на них. Лунный свет падает широкими диагональными полосами на высокий, покрытый эмалью фасад мечети; каждый из голубей, сидящих в нишах и уголках здания, отбрасывает тень. Укутанные в покрывала призраки встают со своих коек и скрываются в тёмных глубинах здания. Возможно ли взобраться на верхушку высокого минарета и оттуда посмотреть вниз на город? Во всяком случае, стоит попробовать; может быть, дверь на лестницу открыта. Действительно, она оказалась открытой; но на лестнице лежал погруженный в глубокий сон привратник, подняв лицо к луне. Крыса выскочила из его тюрбана при звуке приближавшихся шагов. Привратник пробурчал что-то, на минуту открыл глаза, повернулся на другой бок и снова уснул. Вся теплота, накопившаяся за десять знойных индийских лет, сохранилась в чёрных, полированных стенах винтовой лестницы. На половине её есть что-то живое, тёплое, перистое; это что-то храпит. При звуке моих шагов неизвестное существо, прогоняемое со ступени на ступень, вспархи-



вает наверх и оказывается желтоглазым, разгневанным коршуном. Сотни коршунов спали и на других минаретах и на куполах внизу. На этой высоте чувствуется дуновение прохладного или, по крайней мере, менее удушливого ветерка; освежённый, я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на город Страшной Ночи.

Доре мог бы изобразить это на полотне. Золя мог бы описать это зрелище тысяч спящих при лунном свете и в тени! Крыши домов набиты мужчинами, женщинами и детьми; воздух полон неясных шумов. Обитатели города Страшной Ночи беспокойны. Нечего удивляться этому. Чудо, что они могут ещё дышать. Если внимательно приглядеться к толпе спящих, то увидишь, что они почти так же беспокойны, как дневная толпа; но шум спящей толпы – заглушённый. Повсюду, при ярком свете луны, можно видеть ворочающихся спящих; они постоянно переносят с места на место свои постели.

Безжалостная луна выставляет все на вид. Освещает равнины за городом, освещает серебряную пену, набегающую на узкую полосу набережной Рави за городом. На кровле дома, почти под минаретом мечети, какой-то бедняга поднялся, чтобы окатить водой из кувшина своё измученное лихорадкой тело; звук падающей воды слабо доносится до слуха. Два-три человека в отдалённых уголках города Страшной Ночи следуют его примеру, и вода сверкает, словно гелиографические сигналы. Небольшое облако проходит по лику

луны, и город с его обитателями, прежде ясно обрисовывавшимися белыми и чёрными контурами, переходит в массы все более и более густого чёрного цвета. Беспokoйный шум все продолжается – вздох большого города, изнывающего от жары, и людей, напрасно ищущих отдыха. Только женщины низшего класса спят на крышах домов. Какое мучение должно быть в закрытых ставнях зананах, где ещё мерцают лампы? Внизу, во дворе, раздаются шаги. Это муэдзин – верный слугитель; но он должен был подняться часом раньше, чтобы напомнить верным о том, что молитва лучше сна – сна, который не хочет сойти на город.

Муэдзин возится одно мгновение с дверью одного из минаретов, потом исчезает, и звук, похожий на рёв быка – великолепный, громовой бас, – указывает, что он достиг верушки минарета. Возглас этот должен донестись до берегов обмелевшей Рави! Во дворе он почти невыносим. Облако проносится, и муэдзин вырисовывается чёрным силуэтом на небе, с руками, приложенными к ушам; широкая грудь его вздымается от глубокого вдоха: «Аллах хо Акбар»; потом наступает пауза; другой муэдзин, где-то в стороне Золотого Храма, подхватывает призыв: «Аллах хо Акбар». Снова и снова; четыре раза подряд. С дюжину людей уже поднялись со своего ложа. «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Бога», – что это за чудесный крик, это исповедание веры, заставляющее людей десятками подыматься в полночь со своего ложа! Ещё раз он громовым голосом произносит ту

же фразу, дрожа от силы своего собственного голоса. Потом в воздухе, вблизи и вдали, раздаётся: «Мохаммет – Пророк Бога». Он словно бросает вызов отдалённому горизонту, где летняя молния играет и сверкает, словно обнажённая сабля. Все муэдзины в городе повторяют возглас; на кровлях домов некоторые из обитателей становятся на колени. Длинная пауза предшествует последнему восклицанию: «Ла ила иль Аллах!» – и безмолвие воцаряется вслед за ним.

Муэдзин, спотыкаясь, спускается по тёмной лестнице, бормоча что-то. Он проходит под входной аркой и исчезает. Удушливое безмолвие нисходит на город Страшной Ночи. Коршуны на минаретах снова засыпают, храпя ещё громче; горячий ветер налетает ленивыми порывами; месяц спускается к горизонту. Облокотясь на парапет башни, сидишь до зари, смотришь на этот мучимый жарой улей и удивляешься: как живут там люди? О чем они думают? Когда они проснутся? Снова звук воды, выливаемой из кувшинов; слабый скрип деревянных постелей, которые ставят в тень или выносят из тени; нестройная музыка струнных инструментов, смягчённая далью и переходящая в печальную жалобу, и тихий грохот отдалённого грома. Во дворе мечети привратник, лежавший на лестнице минарета, когда я входил туда, дико вскакивает во сне, размахивает руками над головой, бормочет что-то и снова падает на своё место. Убаюканный храпом коршунов – они храпят, как чересчур наевшиеся человеческие существа, – я впадаю в беспокойную дремоту,

сознавая, что пробило три часа и что в воздухе чувствуется лёгкая – очень лёгкая – свежесть. Город теперь совершенно тих, за исключением любовной песни какой-то бродячей собаки. Ничего, кроме мёртвого, тяжёлого сна.

После этого наступает мрак. Он, кажется, тянется несколько недель. Луна зашла. Даже собаки замолкли. Я ожидаю первого луча зари, чтобы направиться домой. Снова звук шаркающих ног. Должен начаться утренний призыв; моё ночное бдение окончилось. «Аллах хо Акбар! Аллах хо Акбар!» На востоке небо становится серого, потом шафранного цвета; предрассветный ветер подымается, словно призванный муэдзином, и, как один человек, город Страшной Ночи подымается и поворачивается лицом к светлеющему дню. С возвращением жизни возвращаются и звуки. Сначала тихий шёпот; потом низкое басовое жужжание. Следует помнить, что весь город на кровлях домов. С веками, отягчёнными от долго откладываемого сна, я спускаюсь с минарета через двор на площадь, где спавшие уже встали, убрали свои постели и ведут утренние разговоры за трубками. Минутная свежесть воздуха уже исчезла и жарко по-прежнему.

– Не будет ли сахиб так добр, не посторонится ли?

Что это? В полусвете люди несут что-то на плечах. Я отступаю. Несут на костёр тело женщины. В толпе кто-то говорит:

– Она умерла в полночь от жары.

Итак, этот город не только Город Ночи, но и Город Смер-



# Воскресение на родине

По его невоспроизводимой манере произносить букву «р» я узнал в нем уроженца Нью-Йорка; а когда он во время нашего длинного, медленного пути к западу от Ватерлоо стал распространяться о красоте своего города, я, объявив, что ничего не знаю об этом городе, не сказал больше ни слова. Удивлённый и восхищённый вежливостью лондонского носильщика, незнакомец дал ему шиллинг за то, что он пронёс его мешок на расстоянии около пятидесяти ярдов; нью-оркец подробно осмотрел уборную первого класса, которой лондонская и юго-западная дороги позволяют иногда пользоваться бесплатно; потом с чувством страха, смешанного с презрением, но сильно заинтересованный, стал смотреть в окно на аккуратненький английский пейзаж, словно погруженный в воскресный покой. Я наблюдал, как выражение удивления постепенно усиливалось на его лице. Почему вагоны так коротки и высоки? Почему некоторые товарные вагоны покрыты брезентами? Какое жалованье может получать инженер? Где же то многолюдное население Англии, о котором он столько читал? Какое положение всех этих людей, что проезжают по дороге на трициклетах? Когда мы будем в Плимуте?

Я сказал ему все, что знал, и многое, чего не знал. Он отправлялся в Плимут, чтобы принять участие в консульта-

ции насчёт болезни одного из его соотечественников, который удалился в окрестности этого города, чтобы излечиться от нервной диспепсии. Да он сам доктор по профессии, и каким образом кто-нибудь в Англии может страдать нервным расстройством – это превосходит его понимание. Никогда ему не грезилась такая успокаивающая атмосфера. Даже сильный шум движения в Лондоне – монастырский покой по сравнению с городами, которые он мог бы назвать; а сельская местность – это рай. Долгое пребывание там свело бы его с ума, признавался он; но на несколько месяцев – это самое чудесное лечение отдыхом.

– Я буду приезжать каждый год, – сказал он в порыве восторга, когда мы ехали среди двух изгородей из белого и розового боярышника в десять футов высоты. – Видеть все то, о чем читал! Конечно, для вас это не поразительно. Я думаю, вы – гражданин этой страны. Что это за совершенная страна! Разве это привитое? Вероятно, уже прирождённое. А там, где я жил... Эй, что это такое?

Поезд остановился при ярком солнечном свете на станции Фремлингэм-Адмирал, которая состояла исключительно из столба с дощечкой с надписью, двух платформ и мостика наверху; не было даже разъездных путей. Никогда, насколько я знал, здесь не останавливался ни один из самых медленных местных поездов; но в воскресенье все возможно на лондонской и юго-западной дорогах. Слышно было жужжание разговоров в вагонах и ещё более громкое жужжание шмелей

в кустах желтофиолей на берегу. Мой спутник высунулся из окна и с наслаждением втянул воздух.

– Где мы теперь? – спросил он.

– В Уильтшайре, – сказал я.

– А! В такой стране человек должен был бы уметь писать романы даже левой рукой. Ну, ну. Итак, это приблизительно страна Тесса, не правда ли? Я чувствую себя как будто я в книге. А у кондуктора что-то на уме. Чего он добивается?

Кондуктор, великолепно одетый, со значком и с поясом, шёл по платформе размеренным, официальным шагом и размеренным же, официальным тоном говорил у дверей каждого вагона:

– Нет ли у кого-нибудь из джентльменов пузырька с лекарством? Один джентльмен по ошибке взял пузырёк с опиумом.<sup>6</sup>

Через каждые пять шагов он смотрел на официальную телеграмму в руке, словно освежая себе память, и повторял свои слова. Мечтательное выражение лица моего спутника – он унёсся вдаль с Тессом – исчезло с быстротой молнии. Со свойственной его соотечественникам способностью быстро приспосабливаться к обстоятельствам, он оказался на высоте положения, сбросил с сетки свой мешок, открыл его, и я услышал звон пузырьков.

– Узнайте, где этот человек, – отрывисто проговорил он. –

---

<sup>6</sup> Недоразумение, на котором основан этот рассказ, происходит от двоякого значения выражения «has taken» – взял и принял.



Я нашёл тут средство, которое может помочь ему, если он ещё в состоянии глотать.

Я поспешно побежал за кондуктором вдоль ряда вагонов. В последнем купе слышался страшный шум – кто-то громко кричал, чтобы его выпустили, и ударял ногами в дверь. Я не разглядел доктора из Нью-Йорка, который быстро шёл по направлению к купе, неся в руке синий стакан из умывальной, наполненный до краёв. Кондуктора я увидел у паровоза. Он неофициально почёсывал в голове и шептал:

– Я выбросил какую-то бутылочку с лекарством в Эндвере, я уверен, что выбросил.

– Во всяком случае, скажи ещё раз, – сказал машинист. – Приказание всегда приказание. Повтори ещё раз.

Кондуктор ещё раз прошёл вдоль вагонов. Я шёл за ним по пятам, стараясь привлечь его внимание.

– Минутку, одну минутку, сэр, – сказал он, размахивая рукой, которая одним взмахом могла бы изменить направление движения на лондонской и юго-западной дорогах. – Не было ли у кого-нибудь пузырька с лекарством? Один джентльмен взял по ошибке пузырёк с ядом, опиумом.

– Где этот человек? – задыхаясь, спросил я.

– В Уокинге. Вот отданное мне приказание. – Он показал мне телеграмму, в которой было указано, что следовало ему говорить. – Должно быть, он оставил в поезде один пузырёк и взял по ошибке другой. Он в отчаянии телеграфировал из Уокинга, а теперь я вспомнил и почти уверен, что я выбро-

сил какой-то пузырьрёк в Эндове́ре.

– Так в поезде нет человека, который принял яд?

– Господи, Боже мой, сэ́р! Конечно, нет. Никто яду не принимал. Он просто вёз его с собой, держал в руках. Он телеграфирует из Уокинга. Мне было приказано опросить всех в поезде; я это сделал, и мы опоздали на четыре минуты. Вы входите, сэ́р? Нет? Так отойдите!

За исключением английского языка, может быть, нет ничего ужаснее порядков на английской железнодорожной линии. Мгновение перед тем казалось, что мы проведём целую вечность на Фремлингэм-Адмирал, а теперь я видел уже, как хвост поезда исчезал за изгибом выемки.

Но я был не один. На одной из скамеек нижней платформы сидел самый громадный матрос, какого я видал в жизни, размягчённый и ставший любезным (он широко улыбался) от выпитого им вина. В огромных руках он нежно держал пустой стакан с буквами: «Л. Ю. З. Д.»,<sup>7</sup> внутри которого виднелись полосы сине-голубого цвета – следы какой-то жидкости. Перед ним, положив ему на плечо руку, стоял доктор. Подойдя ближе, я услышал, как он говорил:

– Потерпите ещё минуту-другую, и вам будет так хорошо, как никогда в жизни. Я останусь с вами, пока вам не станет лучше.

– Господи, Боже мой! Да мне совсем хорошо, – сказал матрос. – Никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

---

<sup>7</sup> Лондонская юго-западная дорога.

Доктор обернулся ко мне и понизил голос:

– Он мог умереть, пока этот дурак кондуктор расхаживал.

Однако я помог ему. Лекарство должно подействовать через пять минут. Не знаю, как бы нам заставить его ходить.

В эту минуту я испытывал такое чувство, словно мне на живот положили мешок с семью фунтами колотого льда.

– Как, как вам удалось сделать это? – задыхаясь, проговорил я.

– Я спросил его, не хочет ли он выпить? Он так сильно колотил ногами, что отлетали куски дерева от стены, вероятно, благодаря его мощному телосложению. Он сказал, что ради выпивки пойдёт куда угодно; ну я и выманил его на платформу и зарядил. Хладнокровный вы народ, британцы! Поезд ушёл, и, по-видимому, никто и не подумал о нём.

– Мы опоздали на поезд, – сказал я.

Он с любопытством взглянул на меня.

– Будет другой до заката солнца, если это единственное, что беспокоит вас. Носильщик, когда идёт следующий поезд?

– Семь сорок пять, – сказал единственный носильщик и вышел в калитку.

Было три часа двадцать минут жаркого, сонного, послепопуденного времени. Станция была совершенно пуста. Матрос закрыл глаза и покачал головой.

– Плохо дело, – сказал доктор. – С ним, а не с поездом. Надо как-нибудь разбудить его, разбудить и заставить ходить.

Насколько мог быстро, я объяснил положение дел, и лицо доктора из Нью-Йорка приняло бронзово-зелёный цвет. Потом он отчаянно выругал нашу знаменитую конституцию, проклял английский язык, корень его, разветвления, грамматические обороты и неясное словопроизводство. Его пальто и мешок лежали рядом со спящим. Он осторожно присел, и тут я заметил плутоватое выражение в его глазах.

Не знаю, какой дьявол овладел им, но он накинул на плечи своё летнее пальто. Говорят, что спящий скорее просыпается от лёгкого шума, чем от сильного. Только доктор продел руки в рукава, гигант проснулся и вцепился в шёлковый воротник горячей правой рукой. На лице его отражались ярость и стремление проявить её в действии.

– Мне не так хорошо, как прежде, – сказал он голосом, идущим из живота. – Вы подождёте меня, подождёте.

Он тяжело дышал сквозь закрытые губы.

В разговоре со мной доктор особенно настаивал на приверженности к законности (не говоря уже о кротости) его так оклеветанной страны. А между тем (впрочем, может быть, его раздражала какая-нибудь пуговица) я увидел, как его правая рука потянулась к правому бедру, ухватила за что-то и снова появилась пустой.

– Он не убьёт вас, – сказал я. – Вероятнее всего, он подаст на вас в суд, насколько я знаю свой народ. Лучше давайте ему время от времени денег.

– Если он будет спокоен, пока не подействует лекарство,

то все будет хорошо, – ответил доктор. – Если же нет – меня зовут Эмори-Джулиан Б. Эмори – 193-я улица, угол Медисонской и...

– Мне никогда не было так дурно, – внезапно проговорил матрос. – Зачем вы дали мне это питьё?

Дело приняло такой личный характер, что я занял стратегическое положение на пешеходном мостике и, став в самом центре, наблюдал за происходившим.

Я видел белую дорогу, шедшую по краю Сольсберийской равнины, лишённую всякой тени на протяжении нескольких миль, и на половине её пятно – спину одинокого носильщика, возвращавшегося во Фремлингэм-Адмирал (если такое место действительно существовало), к поезду, приходящему в семь сорок пять. Тихо звонил колокол какой-то невидимой церкви. Слева от дороги, среди каштановых деревьев, слышался шорох, а вблизи слышно было, как овцы пережёвывали жвачку.

Вокруг царил покой Нирваны. Я предался размышлениям, облокотясь на горячую железную перекладину пешеходного моста (за переход через который брали сорок шиллингов), и убедился, как никогда раньше, что последствия наших поступков бесконечны, вечны. Даже самое лёгкое воздействие нашей личности на жизнь наших ближних оказывает влияние все расширяющееся, подобно кругам на поверхности воды от брошенного камня. Сами боги не могут знать, где предел вызванного нами действия. Ведь, например, не

кто иной, как я, молча поставил перед доктором стакан из уборной первого класса того поезда, который теперь шёл на всех парах в Плимут. Но духом, по крайней мере, я был в миллионе миль расстояния от того несчастного человека другой национальности, который выдумал приложить свой неопытный палец к чужой жизни. Невидимое колесо жизни подхватило его и потянуло вверх и вниз по освещённой солнцем платформе. Эти двое людей словно учились польке-мазурке, и припев их песни, произносимый низким голосом, был: «Зачем вы дали мне это питьё?»

Я увидел блеск серебра в руке доктора. Матрос взял серебро и опустил его в карман левой рукой; но сильная правая ни на минуту не отпускала воротника пальто доктора, и, по мере того как приближался кризис, голос, похожий на рёв быка, становился все громче и громче: «Зачем вы дали мне это питьё?»

Они отошли под большими двенадцатидюймовыми балками пешеходного моста к скамье, и я понял, что час настал. Лекарство производило своё действие. Волны белого и синего цвета сменялись на лице матроса; наконец, оно стало ровного жёлтого цвета и – случилось то, что должно было случиться.

Я вспомнил о взрыве адской машины, о гейзерах в Йеллостоунском парке; об Ионе и его ките; но живой оригинал, который я видел сверху в ракурсе, превзошёл все это. Шатаясь, он подошёл к большой деревянной скамье, укреплённой

железными скобами в прочном каменном основании, и ухватился за неё левой рукой. Рука эта дрожала и тряслась как в лихорадке. Правая же продолжала держать ворот доктора так, что оба тряслись в одном пароксизме, как два маятника, вибрирующих вместе; я издали трясся заодно с ними.

Это было нечто колоссальное, громадное; но английского языка не хватает для выражения некоторых явлений. Только французский язык, кариатидный французский язык Виктора Гюго, мог бы описать это; поэтому я сожалел и вместе с тем смеялся, поспешно придумывая и отбрасывая неподходящие прилагательные. Ярость припадка прошла и страдалец полуупал-полувстал на колени на скамье. Теперь он призывал Бога и свою жену, как раненый бык призывает уцелевшее стадо.

Замечательно, что он уже более не употреблял грубых выражений: это ушло вместе со всем остальным. Доктор показал золото. Оно было взято и удержано. Удержался все-таки и воротник пальто.

– Если бы я мог стоять, – с отчаянием ревел великан, – я бы исколотил вас!.. вас с вашим питьём! Я умираю... умираю-умираю!

– Это вы только так думаете, – сказал доктор. – Увидите, что это принесёт вам много пользы, – и, вменяя в заслугу властную необходимость, прибавил: – Я останусь с вами. Если бы вы отпустили меня на минуту, я дал бы вам кое-что для приведения вас в порядок.

– Вы уже привели меня в порядок, проклятый анархист! Вырвать хлеб изо рта трудящегося англичанина! Но я... я буду держать вас, пока не поправлюсь или не умру. Я не сделал вам ничего дурного. Предположим, что я был немного навеселе. Меня раз лечили в больнице желудочным насосом. Я понимал это, а теперь не постигаю, что это так медленно убивает меня?

– Через полчаса вам будет совсем хорошо. Зачем мне убивать вас, как вы думаете? – спросил доктор, который происходил из логической расы.

– Почём я знаю? Рассказывайте в суде. Получите семь лет за это, человекоубийца вы этакий! Вот вы кто – настоящий человекоубийца. В Англии есть правосудие, скажу вам; да и моё начальство подаст на вас. Мы здесь не допускаем фокусов с внутренностями. Одну женщину засадили на десять лет за гораздо меньшее преступление. И вам придётся уплатить много, много сот фунтов, кроме пенсии моей старухе. Вот увидите, лекарствующий иностранец. Где у вас разрешение на это? Попадёт вам, увидите!

Тут я заметил то, как часто замечал и раньше, что человек, не особенно боящийся пререканий с иностранцем, испытывает самый отчаянный страх перед действием иностранного закона. Голос доктора напоминал флейту, когда он ответил с утончённой вежливостью:

– Но ведь я дал вам очень много денег... три фунта, я думаю.



– Что такое три фунта за отравление такого человека, как я! Ух! Снова начинается.

Во второй раз скамейка зашаталась во все стороны. Я отвернулся.

Стоял чудеснейший майский солнечный день. Невидимые течения воздуха изменились, и вся природа, казалось, вместе с тенями от каштановых деревьев вошла в покой наступившей ночи. Но я знал, что до конца дня ещё много длинных-длинных часов бесконечных английских сумерек. Я был рад, что живу, рад отдаться течению Времени и Судьбы; впитывать всеми порами великий покой и любить мою страну с преданностью, которая особенно расцветает, когда между ней и человеком находится три тысячи миль. И что за райский сад эта удобренная, подстриженная и орошённая страна! Человек может расположиться на отдых в открытом поле и чувствовать себя дома и в большей безопасности, чем в самых величественных зданиях чужих стран. А главная радость состояла в том, что все это неоспоримо принадлежало мне – хорошо подстриженные изгороди, безукоризненные дороги, сплошь покрытые колючим кустарником места, молодые перелески, опоясанные яблонями, кусты боярышника и большие деревья. Лёгкий порыв ветра, осыпавший лепестками боярышника блестящие рельсы, донёс до меня как будто запах свежих кокосовых орехов, и я понял, что где-нибудь, куда не проникает мой взгляд, цветёт золотой дрок. Линней на коленях благодарил Бога, когда в первый раз уви-

дел поле, усеянное дроком. Между прочим, и матрос стоял также на коленях. Но он не молился. Он был просто отвратителен.

Доктору пришлось наклониться над ним, отвернувшись к спинке скамьи; из того, что я видел, я пришёл к заключению, что матрос умер. Если это было действительно так, то мне следовало бы уйти; но я знал, что, пока человек отдаётся течению обстоятельств, стремясь ко всему, что случается на его пути, и ни с чем не борясь, ничего дурного не может случиться с ним. Закон настигает изобретателя планов, прожектёра, но никак не философа. Я знал, что, когда игра окончится, сама судьба удалит меня от трупа и очень жалел о докторе.

Вдали, вероятно, на дороге, ведущей в Фремлингэм-Адмирал, показался какой-то экипаж и лошадь, единственный древний кабриолет, встречающийся в случае нужды почти в каждом селе. Предмет этот продвигался к станции; ему нужно было проехать вдоль дорожки между изгородями, внизу железнодорожного моста и выехать со стороны доктора. Я был в центре. Вот он, мой снаряд! Когда он подъедет, что-нибудь да случится. Все остальное словно не касалось моей глубоко заинтересованной этим случаем души.

Доктор у скамьи повернул, насколько ему позволяло его скорченное положение, голову через левое плечо и приложил правую руку к губам. Я сдвинул шляпу и поднял брови в знак вопроса. Доктор закрыл глаза и медленно кивнул ра-

за два-три головой, приглашая меня подойти. Я осторожно спустился и нашёл все, как ожидал. Матрос, казалось, крепко спал, но рука его продолжала держать ворот доктора и при малейшем движении (а положение доктора было, действительно, очень неудобное) машинально сжимала крепче, как рука больного крепче сжимает руку сиделки. Он почти присел на пятки и, падая все ниже, стащил доктора влево.

Доктор сунул в карман свободную правую руку, вытащил какие-то ключи и покачал головой. Матрос пробурчал что-то во сне. Я молча порылся в своём кармане, вынул сверен и зажал его между большим и указательным пальцами. Доктор снова покачал головой. Не денег не хватало для его покоя. Его мешок упал со скамьи на землю. Он взглянул в его сторону и открыл рот в форме «о». Понять было не трудно; но когда я открыл мешок, то указательный палец правой руки доктора разрезал воздух. С большой осторожностью я вынул из мешка нож, которым срезают мозоли на ногах.

Доктор нахмурился и движениями первого и второго пальцев изобразил движение ножниц. Я снова порылся и нашёл пару остроносых ножниц, способных взрезать внутренности слона. Потом доктор опустил своё левое плечо так, что правая рука матроса опёрлась на скамью, и подождал одно мгновение, пока потухший вулкан снова зашумел. Ниже, все ниже опускался доктор, пока голова его не очутилась как раз наравне с большим волосатым кулаком, так что натянутый воротник совсем ослабел. Тогда меня озарило: я понял, в

чем дело.

Я начал немного левее его позвоночника и вырезал большой полумесяц из его нового летнего пальто, доведя его, насколько было возможно, до левого бока доктора (правого матроса). Затем я быстро перешёл на другую сторону, стал сзади скамьи и прорезал переднюю часть пальто с шёлковыми отворотами слева так, что оба разреза сошлись.

Осторожно, как черепахи на его родине, доктор отодвинулся направо с видом пойманного вора, вылезшего из-под кровати, и распрямился на свободе. Полоска чёрного сукна виднелась сквозь его испорченное летнее пальто.

Я вложил ножницы обратно в мешок, защёлкнул замок и подал ему как раз в то время, когда стук колёс кабриолета глухо раздался под железнодорожным сводом.

Кабриолет проехал шагом мимо калитки станции; доктор шёпотом остановил его. Экипаж ехал за пять миль, чтобы привезти из церкви какого-то человека – фамилии его я не расслышал, – лошади которого захромали. Отправлялся кабриолет как раз в то место, которое жаждал увидеть доктор, и он наобещал кучеру с три короба за то, чтобы тот отвёз его к какой-то его прежней страсти – звали её Элен Блэз.

– А вы разве не поедете? – сказал доктор, запихивая пальто в мешок.

Кабриолет так очевидно был предназначен для доктора и ни для кого другого, что я не имел к нему никакого отношения. «Наши дороги, – думал я, – расходятся». К тому же мне

хотелось посмеяться.

– Я останусь здесь, – сказал я. – Это очень красивая местность.

– Боже мой! – пробормотал он тихо, запирая дверцу, и я понял, что это была молитва.

Он исчез из моей жизни, а я направился к железнодорожному мосту. Необходимо было пройти мимо скамьи, но нас разделяла калитка. Стук отъезжавшего кабриолета разбудил матроса. Он подполз к скамье и злобным взглядом смотрел на спускавшийся по дороге экипаж.

– Там внутри человек, который отравил меня! – кричал он. – Он вернётся, когда я уже похолодею. Вот моя улика! – Он размахивал оставшейся в его руках частью пальто.

Я пошёл своей дорогой, потому что был голоден. Селение Фремлингэм-Адмирал лежит в добрых двух милях от станции, и я нарушил святую тишину вечера громкими взрывами хохота. Наконец я увидел гостиницу – благословенную гостиницу с соломенной крышей и пионами в саду – и заказал себе комнату наверху. Женщина с удивлённым видом принесла мне ветчины и яиц. Я сел у окна и стал есть, смеясь между глотками, так как мне не удалось ещё вволю нахотаться. Я долго сидел, распивая пиво и куря, пока свет в тихой улице не изменился, и я начал подумывать о поезде, отходившем в семь часов сорок пять минут и о покидаемой мною сцене из «Тысячи и одной ночи».

Сойдя вниз, я прошёл мимо великана в одежде из кро-

товых шкурок, который наполнял собой всю распивочную с низким потолком. Перед ним стояло много пустых тарелок и целый ряд обитателей Фремлингэм-Адмирал, которым он рассказывал удивительные вещи об анархии, похищении людей, подкупах и Долине Смерти, откуда он только что вышел. Говоря, он ел, а когда ел, то и пил, потому что внутри него было много места; платил он по-королевски, распространялся о справедливости и законе, перед которым все англичане равны, а все иностранцы и анархисты – дрянь и слякоть.

По пути к станции он прошёл мимо меня большими шагами, высоко подняв голову, твёрдо ступая ногами и сжав кулаки. Дыхание тяжело вырывалось у него из груди. В воздухе стоял чудесный запах – запах белой пыли, потоптанной крапивы и дыма, вызывающий у человека, который редко видит свою родину, слезы, подступающие к горлу; бесконечно знаменательный запах цивилизации, существующей с незапамятных времён. Прогулка была чудесная; останавливаясь на каждом шагу, дошёл до станции как раз в ту минуту, когда единственный сторож её зажигал последнюю лампу и раздавал билеты четырём-пяти местным жителям, которые, не довольствуясь мирным покоем, решили попутешествовать. Оказалось, что матросу билета не было нужно. Он сидел на скамье и с ожесточением топтал ногами стакан. Я остался во тьме, на конце платформы, заинтересованный – благодарение Богу, как всегда, – всем окружающим. На дороге послышался скрип колёс. Матрос встал, когда экипаж приблизил-

ся, вышел из калитки и схватил лошадь под уздцы так, что она присела на задние ноги. То был тот же благодетельный кабриолет, и на одно мгновение я подумал, неужели доктор был настолько безумен, что решился навестить своего пациента?

– Ступай прочь; ты пьян, – сказал кучер.

– Вовсе не пьян, – сказал матрос. – Я дожидался тут много часов. Выходи, негодяй... что сидишь там?

– Поезжай, кучер, – сказал голос – свежий, английский голос.

– Ладно, – сказал матрос. – Не хотел меня слушать, когда я был вежлив. Ну, а теперь выйдешь?

В экипаже образовалась зияющая пропасть – матрос сорвал дверцу с петель и усердно обыскивал внутренности его. В ответ он получил удар хорошо обутой ноги, и из экипажа вышел, не в восторженном настроении, припрыгивая на одной ноге, кругленький, седой англичанин, из-под мышек которого валились молитвенники, а из уст вылетали выражения, совершенно не похожие на гимны.

– Иди-ка сюда, человекоубийца! Ты думал, что я умер, не так ли? – ревел матрос.

Достопочтенный джентльмен подошёл к нему, будучи не в силах произнести ни слова от бешенства.

– Убивают сквайра! – крикнул кучер и упал с козёл на шею матросу.

Нужно отдать справедливость всем обитателям Фрем-

лингэм-Адмирал, которые находились на платформе: они ответили на призыв в лучшем духе феодализма. Сторож ударил матроса по носу штемпелем для билетов, а три пассажира третьего класса схватили его за ноги и освободили пленника.

– Пошлите за констеблем! Заприте его! – сказал последний, поправляя воротничок, и все вместе втолкнули матроса в чулан для ламп и повернули ключ; кучер оплакивал сломанный экипаж.

До тех пор матрос, который только желал правосудия, благородно сдерживался. Но тут он выкинул на наших глазах шутку, изумившую всех нас. Дверь чулана была крепкая и не подалась ни на дюйм; тогда он сорвал раму окна и выбросил её на улицу. Сторож громким голосом считал убытки, а остальные, вооружившись сельскохозяйственными инструментами из сада при станции, беспрестанно размахивали ими перед окном; сами же крепко прижались к стене и убеждали пленника подумать о тюрьме. Насколько они понимали, он отвечал невпопад; но видя, что ему преграждён выход, взял лампу и бросил её через разбитое окно. Лампа упала на рельсы и потухла. С непостижимой быстротой за ней последовали остальные – в общем пятнадцать, словно ракеты во тьме, а когда матрос дошёл до последней (не думаю, чтобы у него был какой-нибудь определённый план), ярость его иссякла, так как действие смертоносного напитка доктора возобновилось под влиянием энергичных движений



и очень обильной еды, и произошёл последний, отчаянный катаклизм. В это время мы слышали свисток поезда.

Все стремились увидеть как можно лучше сцену разрушения; от станции запах керосина подымался до самого неба, и паровоз трясся по разбитому стеклу, словно такса, бегающая по стёклам в парнике с огурцами. Кондуктор должен был выслушать рассказ о приключении (сквайр передал свою версию грубого нападения), и, когда я сел на моё место, вдоль всего поезда из окон выглядывали лица.

– В чем дело? – спросил один молодой человек, когда я вошёл в вагон. – Верно, пьяный?

– Ну, насколько верны мои наблюдения, это, скорее всего, похоже на азиатскую холеру, – ответил я, медленно и отчётливо выговаривая слова так, чтобы каждое из них имело вес и значение. Заметьте, что до сих пор я не принимал участия в борьбе.

Это был англичанин, но он собрал свои вещи так же быстро, как некогда американец, и выскочил на платформу.

– Не могу ли я быть полезен? Я – доктор! – закричал он.

Из чулана для ламп раздался усталый, жалобный голос:

– Ещё один проклятый доктор!

А поезд, отошедший от станции в семь часов три четверти, уносил меня на шаг ближе к Вечности, по дороге, избитой и изборождённой страстями и слабостями и борющимися между собой противоречивыми интересами человека – бессмертного властелина своей судьбы.

# Мальтийская кошка

Все двенадцать имели полное право гордиться и вместе с тем бояться; хотя на турнире они и выигрывали игру за игрой в поло, но в этот день они должны были встретиться в финальном матче с командой «архангелов», а противники эти играли с полудюжиной пони на каждого. Игра должна была быть разделена на шесть партий, с перерывами по восьми минут после каждого часа. Это означало, что у «них» будет по свежему пони после каждого перерыва. Команда же скидаров могла выставить по свежему пони только через два перерыва; а два на один – шансы неравные. К тому же, как указал Шираз, серый сирийский пони, им придётся бороться с самым цветом поло – пони Верхней Индии, пони, каждый из которых стоит по тысяче рупий, тогда как сами они дешёвки, набранные большей частью из деревенских, возящих телеги пони, хозяева которых принадлежат к туземному бедному, но честному полку.

– Деньги дают и ход и вес, – сказал Шираз, потирая печально свой шелковистый чёрный нос о свои чистые копыта, – а, по правилам игры, я знаю...

– Но мы играем не в правила, – сказала Мальтийская Кошка. – Мы играем в игру, и на нашей стороне то преимущество, что мы знаем эту игру. Подумайте-ка столько времени, сколько нужно, чтобы сделать шаг, Шираз. За две недели мы

поднялись с последнего места на второе, играя против всех этих господинчиков; а это потому, что мы играем головой так же хорошо, как ногами.

– Во всяком случае, я чувствую себя малорослой и несчастной, – сказала Киттиуинк, кобыла мышинового цвета с самыми красивыми ногами, какие только могут быть у старого пони. – Они вдвое больше нас.

Киттиуинк оглядела собрата и вздохнула. Жёсткая, пыльная площадка для игры в поло в Умбалле была покрыта тысячами солдат, белых и смуглых, не считая сотен экипажей, повозок и догкартов, леди с зонтиками ярких цветов, офицеров в мундирах и без мундиров. За ними виднелись толпы туземцев, ординарцы на верблюдах, остановившиеся посмотреть на игру вместо того, чтобы развозить рапорты, и туземные барышники, разъезжавшие на белуджистанских кобылах, выискивая случай продать первоклассных пони для игры в поло. Кроме того, тут были пони тридцати команд, боровшихся за Верхнеиндийский кубок, – почти все лучшие пони от Мгова до Пешавара, от Аллахабада до Мультана; пони, уже бравшие призы; арабские, сирийские, варварийские, местного происхождения, декканские, вазирийские и кабульские пони всех мастей, статей и нравов, какие только можно представить себе. Некоторые из них стояли в конюшнях с крышами из циновок, расположенных вблизи площадки для игры в поло, но большинство стояло под сёдлами, а их хозяева, потерпевшие поражение в предыдущих играх, то

подъезжали, то уезжали, указывая друг другу, как должна быть сыграна игра.

Зрелище было чудесное, и одного уже постоянного топота маленьких подков и непрерывных приветствий между пони, встречавшимися на других площадках или бегах, было достаточно, чтобы свести с ума любого четвероногого.

Но команда скидаров старательно избегала знакомства с соседями, хотя половина из присутствовавших пони жаждала свести знакомство с маленькими собратями, явившимися с севера и до сих пор одерживавшими победы.

– Погодите, – сказал нежный, золотистый араб, очень дурно игравший накануне, Мальтийской Кошке, – не встречались ли мы четыре сезона тому назад в конюшне Абдул-Рахмана в Бомбее? Может быть, вы помните, что в следующем сезоне я выиграл Пайкпаттанский кубок?

– Это не я, – вежливо сказала Мальтийская Кошка. – Я была тогда на Мальте, возила тележку с овощами. Я не принимала участия в бегах. Я играю.

– О-о! – сказал араб, подымая хвост и важно отходя прочь.

– Держитесь своих, – сказала Мальтийская Кошка своим товарищам. – Мы не желаем тереться носами со всеми этими полукровками Верхней Индии с их гусиными задами. Когда мы выиграем этот кубок, они согласны будут отдать свои подковы, чтобы познакомиться с нами.

– Нам не выиграть кубка, – сказал Шираз. – Как вы себя чувствуете?

– Выдохшимся, как вчерашнее кушанье, по которому пробежала мускусная крыса, – сказал Поларис, довольно широкоплечий серый пони, и остальные согласились с ним.

– Чем скорее вы позабудете об этом, тем лучше, – весело сказала Мальтийская Кошка. – В большой палатке кончили завтрак. Теперь мы понадобится. Если седла будут неудобны, брыкайтесь. Если удила слишком натянуты, пятьтесь, становитесь на дыбы.

У каждого пони есть свой саис, грум, который живёт, ест и пьёт с пони и держит пари о результатах на гораздо большую сумму, чем может уплатить. Все было в полном порядке, и каждый саис, чтобы быть увереннее, до последней минуты мыл шампунем ноги своего пони. За саисами сидели все военные скидарского полка, которым удалось получить отпуск, – половина туземных офицеров и сотня-другая смуглых чернобородых волынщиков, нервно перебиравших висевшие на лентах волынки. Скидары представляли собой так называемый пионерский полк; а волынки были национальным музыкальным инструментом для половины из них. Туземные офицеры держали в руках связки молотков с деревянными рукоятками; по мере того, как стэнд наполнялся людьми, окончившими завтрак, офицеры располагались в одиночку и по двое в различных местах площадки, чтобы в случае поломки молотка игроку не пришлось ехать далеко за новым. Нетерпеливый британский оркестр заиграл: «Хотите знать время, спросите полисмена!» – и двое судей в лёгких

пыльниками выехали на приплясывавших, возбуждённых маленьких пони. Четверо игроков команды «архангелов» следовали за ними. При виде их прекрасных коней Шираз снова застонал.

– Подождём – увидим, – сказала Мальтийская Кошка. – Двое из них играют в наглазниках, а это значит, что они могут заградить путь своим, а также испугаться пони судей. У всех них белые бумажные поводья, которые, наверно, вытянутся или соскользнут.

– И, – сказала Киттиуинк, танцуя, чтобы размяться, – они держат молотки в руках, вместо того чтобы повесить их на руку.

– Да, правда. Ни один человек не может управляться сразу и с молотком, и с поводом, и с хлыстом таким способом, – сказала Мальтийская Кошка. – Я падала на каждом квадратном ярде на площадке в Мальте и потому могу знать.

Она повела своим изъеденным блохами загривком, чтобы показать, как она довольна; но на сердце у неё было не так легко. С тех пор, как она приплыла в Индию на военном судне, взятая вместе со старым ружьём за долг, сделанный на скачках, Мальтийская Кошка играла в поло и проповедовала эту игру на каменной площадке для поло скидаров. Пони, играющий в поло, подобен поэту. Если он рождается с любовью к этой игре, то из него может выйти толк. Мальтийская Кошка знала, что бамбук растёт только для того, чтобы из его корней можно было выделывать мячи для поло, что

зерно даётся пони, чтобы поддерживать их бодрость и силы для игры, и что пони подковывают для того, чтобы они не поскользнулись на повороте. Но кроме этого, она знала все фокусы и уловки этой прекраснейшей на свете игры и в продолжение двух сезонов учила других всему, что знала или о чем догадывалась.

– Помните, – в сотый раз повторяла она, когда подошли ездоки, – мы должны играть вместе, и вы должны играть головой. Что бы ни случилось, следуйте за мячом. Кто выступает первым?

На Киттиуинк, Ширази, Полариса и на короткого, высокого, маленького гнедого пони с громадными поджилками, с загривком, о котором не стоило и говорить (его звали Коркс), надели подпруги, и солдаты издали устремили глаза на них.

– Держите себя смирно, – сказал Лютиенс, капитан команды, – главное, не играйте на волынках.

– Даже если мы выиграем, капитан-сахиб? – спросил один из волынщиков.

– Если мы выиграем, можете делать что угодно, – улыбаясь, сказал Лютиенс.

Он надел рукоятку молотка на руку, повернулся и рысью поехал на своё место. Пони «архангелов» были несколько смущены присутствием многочисленной пёстрой толпы, стоявшей так близко к площадке. Их всадники были великолепными игроками, но это была команда отличных отдельных игроков, а не отличная команда, что и составляло громад-

ную разницу. Они твёрдо решились играть сообща, но очень трудно четверым людям, каждый из которых является лучшим игроком своей команды, помнить, что в поло самое блестящее попадание, самая блестящая езда ничего не значат, если играть в одиночку. Их капитан отдавал приказания, называя игроков по именам, – любопытно, что если англичанина назвать по имени при публике, он горячится и волнуется. Лютиенс ничего не говорил своим партнёрам, потому что все сказано было заранее. Он придержал Ширазу, потому что хотел остаться позади, чтобы охранять выигрышный шест. Поуэлл на Поларисе был посредине, а Макнамара и Юз на Корксе и Киттиуинк были впереди. Тяжёлый бамбуковый шар был положен на середину площадки в расстоянии ста пятидесяти ярдов от конечных пунктов, и Юз скрестил молотки, подняв их вверх, с капитаном «архангелов», который решил играть форвардом, а в этом случае нелегко контролировать команду. Слабый звук удара молотков раздался по всей площадке. Юз сделал быстрый удар поворотом кисти, который отогнал шар на несколько ярдов. Киттиуинк давно был знаком этот приём, и она последовала за мячом, как кошка следует за мышью. Пока капитан «архангелов» повернул своего пони, Юз ударил изо всех сил, и в следующее же мгновение Киттиуинк понеслась, а за нею, совсем близко, и Коркс. Их маленькие ноги ударялись о землю, словно капли дождя о стекла.

– Бери влево, – сквозь зубы сказала Киттиуинк, – он идёт



в нашу сторону, Коркс!

Люди партии «архангелов» бросились к ней как раз в ту минуту, когда она была вблизи шара. Юз наклонился, отпустив повод, и отбросил шар влево почти под ноги Киттиуинк; шар подскочил и покатился к Корксу, который понял, что если он не поторопится, то шар укатится за пределы площадки. Эта продолжительная скачка дала «архангелам» время повернуться и послать трех всадников, чтобы отогнать Коркса. Киттиуинк осталась на своём месте, так как знала игру. Корке подоспел к шару на четверть секунды раньше, чем другие, и Макнамара ударом наотмашь отослал его через всю площадку Юзу, который, увидев, что путь к выигрышному шесту «архангелов» свободен, отбросил туда шар прежде, чем кто-нибудь понял, что случилось.

– Вот счастье! – сказал Корке, когда лошади поменялись местами. – Дойти до шеста в три минуты, с трех ударов... А об езде и говорить нечего.

– Не знаю, – сказал Поларис. – Мы слишком скоро рассердили их. Нисколько не удивлюсь, если в следующий раз они попробуют сбить нас с ног.

– Так подбрасывай шар все время, – сказал Шираз. – Это утомляет каждого непривычного пони.

На следующий раз галопировать по площадке было не так легко. Все «архангелы» столпились, как один, и должны были остаться на одном месте. Коркс, Киттиуинк и Поларис были все время вблизи шара, отражая удары, а Шираз кружил-

ся сразу, поджидая удобного случая.

– Мы можем проделывать это целый день, – сказал Поларис, ударяя копытами в бок какого-то пони. – А, как вы думаете, куда вы стремитесь?

– Я... я, право, не знаю, – задыхаясь, проговорил пони, – я отдал бы корм целой недели за то, чтобы с меня сняли наглазники. Я ничего не вижу.

– Пыль довольно сильная. Уф! Вот попало в заднюю поджилку. Где шар, Коркс?

– Позади меня. По крайней мере, какой-то человек ищет его там. Прекрасно. Они не могут пустить в дело свои молотки, и это сводит их с ума. Толкните-ка старого с наглазниками, и он перебежит на свою сторону.

– Не трогайте меня! Я не вижу. Я... я попячусь, я думаю, – сказал пони в наглазниках, который знал, что если не видишь всего вокруг себя, то нельзя удержаться на ногах при толчке.

Коркс наблюдал за шаром, который лежал в пыли вблизи его передней ноги. Макнамара ударял его по временам молотком, держась за середину рукоятки. Киттиуинк прокладывала себе путь среди толпы, помахивая в нервном возбуждении обрубок хвоста.

– О! И попало же им! – фыркнула она. – Пропустите меня, – и она помчалась, словно пуля, выпущенная из ружья, за высоким, худым пони неприятеля, ездов которого размахивал молотком, приготавливаясь к удару.

– На сегодня благодарю вас, – сказал Юз, когда удар

скользнул по его поднятому молотку, а Киттиуинк оттеснила плечом высокого пони и оттолкнула его как раз в то время, как Лютиенс на Ширазе отослал шар обратно, а высокий пони, скользя и спотыкаясь, отъехал налево. Киттиуинк, видя, что Поларис присоединился к Корксу в охоте за шаром, заняла место Полариса, а затем объявили перерыв.

Пони скидаров не стали терять времени на брыканья и другие гневные проделки. Они знали, что каждая минута дороги, и потому тотчас же отправились к решётке и своим саисам, которые начали их скрести, чистить и покрывать попонами.

– Ух! – сказал Коркс, выпрямляясь, чтобы воспользоваться как можно лучше услугами большой скребницы. – Если бы играли пони против пони, мы через полчаса согнули бы вдвое этих «архангелов». Но они будут приводить все новых и свежих – вот увидите.

– Не все ли равно? – сказал Поларис. – Мы первые выпустили им кровь. Что мои поджилки, пухнут?

– Наливаются, – сказал Коркс. – Должно быть, сильно попало. Не запускай. Ты понадобишься через полчаса.

– Ну, как идёт игра? – спросила Мальтийская Кошка.

– Площадка похожа на твою подкову, за исключением тех мест, куда полили слишком много воды, – сказала Киттиуинк. – Там скользко. Не играйте в центре. Там грязно. Не знаю, как поведёт себя их следующая четвёрка, но мы все время гоняли шар и заставили их даром взмылиться. Кто

выступает? Два араба и пара доморощенных? Это худо. Как приятно освежить рот водою.

Китти болтала, держа между зубами горлышко обтянутой кожей бутылки из-под содовой воды, и в то же время старалась повернуть голову так, чтобы видеть свой загривок. Это придавало ей очень кокетливый вид.

– Что, худо? – спросил Грейдаун, на которого надевали подпругу, любуясь своими хорошо поставленными плечами.

– Вы, арабы, не можете галопировать так быстро, чтобы разгорячиться – вот что хочет сказать Китти, – заметил Поларис, прихрамывая, чтобы обратить внимание на свои поджилки. – Вы уже готовы?

– Похоже на то, – сказал Грейдаун, когда Лютиенс вспрыгнул в седло. Поуэлл сел на Кролика, простую гнедую доморощенную лошадь, похожую на Коркса, но с лошаковыми ушами. Макнамара взял Феза Улла, ловкого, маленького рыжего араба с коротким задом и длинным хвостом, а Юз сел на Бенами, старого, угрюмого каракового коня, который выдвинулся вперёд больше, чем следовало.

– Бенами имеет деловой вид, – сказал Шираз. – Ну, как твоё настроение духа, Бен?

Старый боевой конь отъехал, ничего не ответив, а Мальтийская Кошка смотрела на новых вражеских пони, танцевавших на площадке. Это были чудесные вороние пони, и они казались достаточно большими и сильными, чтобы съесть всю команду скидаров и ускакать галопом, перевари-

вая пищу.

– Опять наглазники, – сказала Мальтийская Кошка. – Недурно!

– Это боевые кони – кавалерийские кони! – с негодованием сказала Киттиуинк. – Это против правил.

– Все они были тщательно измерены и получили свидетельства, – сказала Мальтийская Кошка, – иначе они не были бы здесь. Мы должны принимать вещи такими, как они есть, какими они предстают перед нами, и не спускать глаз с шара.

Игра началась, но на этот раз скидары были прикованы к своей границе площадки, и наблюдавшие за игрой пони не одобряли этого.

– Фез Улла, по обыкновению, уклоняется.

– Фез Улла получит хлыст, – сказал Коркс.

Слышно было, как обтянутый кожаным ремнём хлыст хлестнул по хорошо округлённым ляжкам малютки.

Потом на площадке раздалось пронзительное ржание Кролика.

– Я не могу всего этого проделать! – кричал он.

– Играй и не болтай! – строго сказала Мальтийская Кошка; и все пони дрожали от волнения, а солдаты и грумы ухватились за решётку и кричали. Вороной пони с наглазниками избрал старого Бенами и мешал ему всеми возможными способами. Видно было, как Бенами взмахивал головой вниз и вверх и хлопал нижней губой.

– Сейчас он свалится, – сказал Поларис. – Бенами начи-

нает уставать.

Игра разгоралась на пространстве между шестью обеих сторон, и вороные пони становились увереннее, чувствуя, что преимущество на их стороне. Шар был выбит из маленькой ямки. Бенами и Кролик последовали за ним; Фез Улла был рад успокоиться на мгновение.

Вороной пони налетал, как сокол, с двумя лошадьми его партии; глаза Бенами заблестели, когда он поскакал. Вопрос был в том, какому пони придётся уступить дорогу другому; каждый из всадников готов был рисковать падением ради дела. Вороной пони, доведённый почти до безумия своими наглазниками, надеялся на свой вес и темперамент; но Бенами знал, как применять свою силу и как сдерживать свой нрав. Они встретились, и поднялось облако пыли. Вороной лежал на боку, совершенно задыхаясь. Кролик был в ста ярдах впереди, а Бенами присел на задние ноги. Он отлетел почти на десять ярдов, но отомстил и сидел, раздувая ноздри, пока вороной пони не встал.

– Вот тебе за вмешательство! Хочешь ещё? – спросил Бенами и бросился в самый центр игры. Ничего не было сделано, потому что Фез Улла не хотел идти галопом, хотя Макнамара бил его каждую свободную минуту. Падение вороного пони страшно подействовало на его товарищей, и потому «архангелы» не могли воспользоваться дурным поведением Феза Уллы.

Но, как говорила Мальтийская Кошка, когда был объяв-

лен перерыв и все четверо вернулись, запыхавшиеся и обливающиеся потом, Феза Улла следовало бы прогнать вокруг всей площадки, осыпая побоями. Мальтийская Кошка обещала, что она выдернет с корнем его арабский хвост и съест его, если он не будет вести себя лучше в следующий раз.

Разговаривать было некогда, потому что раздалось приказание вывести следующих четырех пони.

Третья партия отличается особой горячностью, потому что каждая сторона думает, что другая должна уже устать, и в это время шансы на успех бывают наиболее значительны.

Лютиенс сел на Мальтийскую Кошку, предварительно погладив и обняв её, так как ценил её более всего на свете. Поуэлл был на Шикасте, маленькой серой крысе без родословной и вне поло не имевшей никаких достоинств; Макнамара ехал на Бамбу, самой большой лошади из всей команды, а Юз взял лошадь неизвестной породы. Предполагалось, что у неё в жилах течёт австралийская кровь, но вид она имела боевого коня, и её можно было бить по ногам железным прутом, не причиняя ей никакого вреда.

Они пошли навстречу цвету команды «архангелов», и когда Неизвестный увидел элегантно обутые ноги противников и их прекрасную, шелковистую шерсть, он улыбнулся сквозь свои лёгкие, сильно поношенные удила.

– Нужно с ними немножко поиграть в футбол, – сказал он. – Этих джентльменов нужно немножко осадить.

– Не кусаться! – предостерегла Мальтийская Кошка, так

как было известно, что лошадь тёмного происхождения в течение своей карьеры забылась раза два в этом отношении.

– Кто говорил о том, чтоб кусаться? Я ведь веду игру серьёзную, а не пустячную.

«Архангелы» налетели, словно волки на стадо; они устали от футбола и желали начать игру в поло. Желание их исполнилось. Как только началась игра, Лютиенс ударил по быстро катившемуся к нему шару. Шар поднялся в воздух с шумом, напоминавшим крик испуганной перепёлки. Шикаст слышал этот звук, но в продолжение одной минуты не видел шара, хотя и смотрел вверх, в воздух, как учила его Мальтийская Кошка. Когда он увидел в воздухе шар, он пустился вперёд с Поуэллом, насколько мог быстрее. Тут-то Поуэлл, обыкновенно спокойный, вдруг почувствовал вдохновение и сделал удар, который иногда бывает удачным во время спокойной игры после целого вечера усердной работы. Он взял молоток обеими руками и, поднявшись на стремянах, ударил по шару в воздухе. Секунда как бы парализованного молчания, и потом со всех четырех сторон площадки поднялись неистовые крики одобрения и восторга, когда шар полетел в должном направлении. (Видели бы вы, как ныряли в свои седла, чтобы увернуться от шара, изумлённые «архангелы», с открытыми ртами смотревшие на него.) Полковые волынщики скидаров визжали, пока у волынщиков хватало духу.

Шикаст услышал удар; но он слышал, что в то же время отлетела и рукоятка молотка. Девятьсот девять пони из ты-



сочи бросились бы за шаром, а ставший бесполезным игрок старался бы удержать их; но Поуэлл знал Шикаста, и тот знал Поуэлла; в то же мгновение, как он почувствовал, что нога Поуэлла несколько подвинулась на седле, он направился к краю площадки, к тому месту, где какой-то туземец-офицер отчаянно размахивал новым молотком. Раньше, чем окончились приветствия, у Поуэлла уже был новый молоток.

Когда-то раньше Мальтийская Кошка слышала подобный удар, нанесённый ей всадником, и воспользовалась происшедшим смятением. На этот раз она действовала на основании опыта и, оставив Бамбу охранять шест от всяких случайностей, пролетела, словно молния, среди остальных лошадей, опустив голову и хвост; Лютиенс привстал, чтобы помочь ей, и, прежде чем другая сторона поняла, в чем дело, она чуть было не упала на голову у шеста «архангелов», когда Лютиенс отбросил шар на сто пятьдесят ярдов.

Более всего Мальтийская Кошка гордилась этим быстрым бегом через всю площадку. Она считала, что не следует гонять шары вокруг площадки, за исключением тех случаев, когда игра почти проиграна. После этого посвятили пять минут игре в футбол, а дорогой быстроногий пони ненавидит эту игру, потому что она раздражает его.

Неизвестный выказал себя с ещё лучшей стороны, чем Поларис. Он не позволил себе никакого уклонения, но проник в лагерь противника так спокойно, как будто опустил нос в кормушку в ожидании найти что-нибудь вкусное. Малень-

кий Шикаст караулил шар, и всякий раз, как какой-нибудь пони противника приближался к шару, он находил стоящего рядом с ним Шикаста, который словно спрашивал, в чем дело.

– Если мы выдержим эту партию, я не буду больше беспокоиться, – сказала Мальтийская Кошка. – Не будем утомляться без толку. Пусть они стараются.

«Архангелы» держали их прикованными перед своим шестом, но это окончательно вывело из себя «архангельских» пони; они начали брыкаться, а люди стали сыпать комплиментами; пони начали хватать Неизвестного за ноги, а он поджал губы и остался на своём месте; пыль стояла в воздухе, пока не кончилась эта горячая партия.

Пони были очень возбуждены и самоуверенны, когда вернулись к своим саисам; и Мальтийской Кошке пришлось предостерегать их, напоминая, что теперь наступает самая скверная часть игры.

– Теперь мы идём во второй раз, – говорила она, – а они выводят новых пони. Вы думаете, что можете идти галопом, но увидите, что не можете; и тогда вы будете огорчены. Ради Бога, не выступайте вновь с мыслью, что игра уже наполовину выиграна, если до сих пор нам улыбалось счастье. Они прогонят вас и не дадут вам двинуться с места, если смогут; не давайте им этого шанса. Следуйте за шаром.

– По обыкновению, футбол? – сказал Поларис. – У меня поджилки вздулись, как торба с овсом.

– Не давайте им видеть шар, если сможете. Теперь оставьте меня одну. Я должна отдохнуть как можно лучше перед последней партией.

Она опустила голову и ослабила все мускулы; Шикаст, Бамбу и Неизвестный последовали её примеру.

– Лучше не смотреть на игру, – сказала она. – Мы не играем и только ослабеем, если будем тревожиться. Смотрите на площадку и воображайте, что теперь отдых.

Они постарались последовать её совету, но трудно было исполнить его. Копыта выбивали барабанную трель, молотки стучали вдоль всей площадки, а крики одобрения английских отрядов показывали, что «архангелы» сильно теснят скидаров. Туземные солдаты, стоявшие позади пони, стонали, ворчали и говорили разные разности вполголоса; вдруг они слышали продолжительные восклицания и взрыв «ура!».

– Это приветствуют «архангелов», – сказал Шикаст, не подымая головы. – Время отдыха почти прошло. Ох, что-то будет!..

– Фез Улла, – сказала Мальтийская Кошка, – если в этот раз ты не будешь играть до последнего гвоздя в твоей подкове, я побью тебя на площадке при всех других пони.

– Я сделаю все, что смогу, когда придёт моё время, – решительно сказал маленький араб.

Саисы серьёзно смотрели друг на друга, растирая ноги своих пони. Теперь только настало время, когда все постав-

лено на карту, и все знали это. Киттиуинк и другие пони вернулись; пот катился градом с их подков и хвостов. Они рассказали печальные новости.

– Они лучше нас, – сказал Шикаст. – Я знал, что так будет.

– Закрой рот! – сказала Мальтийская Кошка. – У нас все же одна лишняя выигранная партия.

– Да, но теперь будут играть два араба и два доморощенных пони, – сказал Корке. – Фез Улла, помни!

Он говорил резким тоном.

Когда Лютиенс сел на Грейдауна, он взглянул на своих партнёров: вид их был, нельзя сказать, чтобы красивый. Они были покрыты полосами грязи, смешанной с потом. Их жёлтые сапоги стали почти чёрными, кисти рук покраснели, жилы набухли; глаза, казалось, вышли на два дюйма из орбит, но выражение их было бодрое.

– Поели вы что-нибудь за завтраком? – спросил Лютиенс. Команда отрицательно покачала головами. Во рту у всадников пересохло; им трудно было говорить.

– Хорошо. «Архангелы» позавтракали. Они хуже подготовлены, чем мы.

– У них пони лучше, – сказал Поуэлл. – Эх, скорее бы все это кончилось...

Пятая партия была худшая во всех отношениях. Фез Улла играл, как маленький красный демон; Кролик, казалось, появлялся сразу во всех местах, Бенами бросался на все, что попадалось ему на пути; судьи на своих пони кружились,

словно чайки, следя за постоянно изменявшейся игрой. Но у «архангелов» лошади были лучше – они придержали своих рысаков к концу игры и не давали скидарам играть в футбол. Они бросали шар вверх и вниз, пока не опередили Бенами и остальных. Тут они выехали вперёд, и снова Лютиенс со своим пони еле успели отразить шар сильным ударом. Грейдаун забыл, что он араб, и из серого превратился в синего, галопируя изо всех сил. Он забылся настолько, что не держал глаза опущенными в землю, как следует арабу, но поднял нос кверху и бежал быстро, думая только о том, чтобы поддержать честь своей команды. Во время перерывов площадку раза два поливали водой; какой-то беспечный водовоз вылил все остатки воды в одно место вблизи шеста скидаров. Конец был уже близок, и Грейдаун в десятый раз бросился за шаром, как вдруг его задняя нога поскользнулась в жирной грязи, и он упал, сбросив Лютиенса вблизи шеста, и торжествующие «архангелы» отбросили шар в свою сторону. Тут объявили перерыв. Лютиенс не мог подняться без посторонней помощи; а когда поднялся Грейдаун, оказалось, что нога у него вывихнута.

– Где перелом? – спросил Поуэлл, обвивая рукой Лютиенса.

– Конечно, ключица, – сквозь зубы сказал Лютиенс. За два года он три раза ломал себе ключицу, и это было досадно ему.

Поуэлл и остальные присвистнули.

– Игра проиграна, – сказал Юз.

– Держитесь! У нас ещё целых пять минут, и у меня сломана не правая рука, – сказал Лютиенс. – Мы выьем шар.

– Вы ушиблись, Лютиенс? – спросил подъехавший капитан «архангелов». – Мы подождём, если вы хотите выставить заместителя. Я желаю... Я хочу сказать... Дело в том, что вы более, чем кто-либо, заслуживаете выигрыша. Мне хотелось бы, чтобы мы могли дать вам на подмогу игрока, или какого-нибудь из наших пони, или что-нибудь.

– Вы очень добры, но, я думаю, мы будем играть до конца.

Капитан «архангелов» несколько секунд пристально смотрел на него.

– Ну, значит, дело не так плохо, – сказал он и вернулся к своей команде; а Лютиенс взял шарф у одного из туземных офицеров и сделал перевязку. Потом подъехал один «архангел» с большой губкой и посоветовал Лютиенсу положить её подмышку, чтобы плечу было легче; они вместе перевязали левую руку Лютиенса по всем правилам медицинского искусства, а один из туземных офицеров выскочил вперёд с четырьмя высокими стаканами, в которых что-то шипело и пенилось.

Команда с состраданием смотрела на Лютиенса, и он кивнул головой. Это была последняя партия, после которой все становилось безразличным. Выпили темно-золотистый напиток, отёрли усы, и надежды ожили.

Мальтийская Кошка сунула нос в рубашку Лютиенса и

пробовала сказать, как ей жаль его.

– Она знает, – гордо сказал Лютиенс. – Знаешь, шельма! Я играл, бывало, с ней без узды – в шутку.

– Теперь не до шуток, – сказал Поуэлл. – Но у нас нет приличного заместителя.

– Нет, – сказал Лютиенс. – Это последняя партия, и нам нужно выиграть. Я положусь на Кошку.

– Если вы упадёте в этот раз, вы сильно пострадаете, – сказал Макнамара.

– Я доверюсь Кошке, – сказал Лютиенс.

– Вы слышите? – с гордостью сказала Мальтийская Кошка остальным. – Стоит играть десять лет в поло, чтобы услышать такие слова. Ну, идёмте, сыны мои! Мы немножко побрыкаемся, чтобы показать «архангелам», что мой всадник не пострадал.

И, действительно, когда выехали на площадку, Мальтийская Кошка, убедаясь, что Лютиенс крепко сидит в седле, брыкнула раза три-четыре; Лютиенс рассмеялся. Кое-как кончиками пальцев забинтованной руки он захватил повод, хотя и понимал, что не может положиться на него.

Он знал, что Кошка поддаётся малейшему нажатию ноги, и, чтобы покрасоваться – хотя плечо у него сильно болело, заставил пони проделать восьмёрку между шестью. Раздались оглушительные крики туземцев, офицеров и солдат, которые очень любят всякие «дугабашы», как они называют фокусы, проделываемые всадниками. Волынки очень

спокойно и презрительно проиграли первые ноты комической базарной песенки, как бы предупреждая другие отряды, что скидары готовы. Все туземцы расхохотались.

– А теперь, – сказала Кошка, когда все встали на места, – помните, что это последняя партия, и следуйте за шаром.

– Не нуждаемся в указаниях, – сказал Неизвестный.

– Дай мне досказать. Все эти люди станут толпиться с четырех сторон – как то было на Мальте. Вы услышите, как они будут перекликаться, бросаться вперед, как их будут отталкивать назад, и «архангельские» пони почувствуют себя очень несчастными. Но если шар будет отброшен к краю, ступайте за ним и разгоняйте людей. Я перескочила однажды через дышло экипажа и выиграла игру, благодаря поднявшейся вокруг него пыли. Поддержите меня, когда я побегу, и следуйте за шаром.

Когда началась последняя партия, вокруг послышались возгласы сочувствия и удивления, и произошло то, что предвидела Мальтийская Кошка. Зрители столпились по краям площадки, и пони «архангелов» искоса смотрели на все суживавшееся пространство. Если вы испытали чувство человека, которому отрезают свободный выход во время игры в теннис – не потому, что он хотел убежать из круга, но потому, что для него важно сознание, что он может сделать это в случае нужды, – то поймете, что должны чувствовать пони, когда играют в ящике из живых существ.

– Я собью в кучу некоторых из этих людей, если только



доберусь до них, – сказал Неизвестный, двигаясь за шаром.

Бамбу молча, утвердительно кивнул головой. Они играли из последних сил, и Мальтийская Кошка покинула шест, чтобы присоединиться к ним. Лютиенс отдавал всевозможные приказания, чтобы заставить её вернуться; но в первый раз за всю свою карьеру маленький, умный серый пони играл в поло под свою личную ответственность, и он решил воспользоваться этим.

– Что вы тут делаете? – сказал Юз, когда Кошка пересекла ему дорогу, обгоняя пони «архангелов».

– Кошка атакует – стерегите шест! – крикнул Лютиенс и, наклонившись, сильно ударил по шару, потом поскакал дальше, отгоняя «архангелов» к их шесту.

– Никакого футбола! – сказала Кошка. – Держите шар; заставьте их сбиться в кучу и гоните к краю.

Шар летал по площадке по диагоналям, и каждый раз, как он приближался к краям, «архангельские» пони упрямо пятились назад. Они не желали идти очертя голову на стену из людей и экипажей, хотя, будь площадка открыта, они бросились бы на неё.

– Отодвигайте их к краям! – сказала Кошка. – Держитесь ближе к толпе. Они ненавидят экипажи! Шикаст, держи их с этой стороны!

Шикаст с Поуэллом проносились то справа, то слева того места, где происходила схватка, и каждый раз, когда отгоняли шар, Шикаст галопировал за ним под таким углом, что

Поуэллу приходилось направлять шар к краю площадки; когда толпу удавалось отогнать с этой стороны, Лютиенс отсылал шар в другую, а Шикаст отчаянно гнался за ним, пока на подмогу ему не являлись друзья. Теперь это была игра на бильярде, а не футбол; бильярд с лузой в углу, а кий не был как следует натёрт мелом.

– Если они заставят нас выйти на середину площадки, они уйдут от нас. Рассейтесь...

Они рассеялись вдоль площадки так, что ни один пони не мог подойти к ним справа; «архангелы» бесились, судьям пришлось не обращать внимания на игру, а только кричать на зрителей, чтобы разгонять их: несколько неловких конных полицейских пробовали восстановить порядок, а нервы пони «архангелов» натянулись и рвались, как паутина. Раз пять-шесть кому-нибудь из «архангельских» пони удавалось бросить шар на середину площадки, и каждый раз бдительный Шикаст давал Поуэллу возможность отбивать шар, и всякий раз, когда рассеивалась пыль, видно было, что скидары продвинулись на несколько ярдов.

По временам раздавались громкие крики зрителей: «Левее! Правее!», но команды были слишком заняты, чтобы обращать внимание на это, а судьи употребляли все усилия, чтобы удерживать своих бесившихся пони от участия в свалке.

Но вот Лютиенсу не удался удар, и скидарам пришлось бежать как попало на защиту своего шеста. Шикаст шёл впе-

реди. Поуэлл остановил шар ударом наотмашь в пятидесяти ярдах от шеста, и Шикаст повернулся так круто, что Поуэлл чуть было не вылетел из седла.

– Теперь наш последний шанс, – сказала Кошка, вертясь, как майский жук на булавке. – Надо выступать! Ступайте за мной!

Лютиенс почувствовал, как она глубоко вздохнула и как бы припала к земле. Шар, подпрыгивая, катился к правому краю площадки, куда скакал «архангел», подгоняя шпорами и хлыстом своего пони; но ни шпоры, ни хлыст не могли заставить пони прибавить ходу, когда он приблизился к толпе. Мальтийская Кошка проскользнула под самым его носом, круто подняв задние ноги, так как оставалось мало места между её копытами и мундштуком чужого пони. Это было сделано так ловко, что напоминало фигурное катанье на коньках. Лютиенс ударил изо всех оставшихся сил, но молоток выскользнул у него из рук, и шар отлетел влево, вместо того чтобы остаться вблизи края площадки. Грейдаун был далеко и размышлял, галопируя. Он повторил шаг в шаг манёвр Кошки с другими пони, отогнав шар из-под его мундштука и обогнав противника на полдюйма. Потом он отъехал вправо, тогда как Мальтийская Кошка взяла влево; Бамбу шёл как раз посреди них. Все трое как бы шли в атаку; охранять шест остались только бэки «архангелов»; но непосредственно за ними спешили изо всех сил три скидара и среди них Поуэлл, подгонявший Шикаста, так как чувствовал, что

это последняя надежда. Нужно быть очень хорошим ездоком, чтобы выдержать напор семи бешеных пони в последние минуты борьбы за кубок, когда люди скачут, уткнувшись носом в луку седла, а пони находятся точно в бреду. Бэк «архангелов» потерял свой удар и отъехал как раз вовремя, чтобы пропустить первый напор. Бамбу и Неизвестный умили шаг, чтобы пропустить Мальтийскую Кошку, и Лютиенс попал в шест чистым, ловким, громким ударом, который раздался по всему полю. Но остановить пони было невозможно. Они ворвались через ограду у шеста толпой, победители и побеждённые вместе. Бег был ужасен. Мальтийская Кошка знала по опыту, что должно произойти, и из последних сил повернула направо, чтобы спасти Лютиенса, так сильно, что навсегда повредила себе мускул. Как раз когда она сделала это, она услышала треск одного из столбов, о который ударился какой-то пони. Столб затрещал и упал, как мачта. Столб был подпилен в трех местах в целях безопасности, но тем не менее пони испугался и наткнулся на другого, а тот наткнулся на столб слева; поднялось смятение, пыль; полетели щепки. Бамбу лежал на земле и видел над собой звезды; рядом с ним катался «архангельский» пони, задыхаясь и сердясь; Шикаст присел по-собачьи, чтобы не упасть на других, и пополз на своём маленьком, коротком хвосте в облаке пыли; а Поуэлл сидел на площадке, барабанил молотком и пробовал кричать «ура». Все остальные кричали так громко, как только позволяли им остатки их голоса; зрители, кото-

рых разгоняли, также кричали. Как только увидели, что никто не пострадал, десять тысяч туземцев и англичан принялись кричать, аплодировать, и, прежде чем кто-нибудь успел остановить их, волынщики скидаров ворвались на площадку со всеми туземными офицерами и солдатами и стали расхаживать взад и вперёд, играя дикую северную мелодию, называемую «Закмэ Баган». Среди дерзкого рёва волынок и пронзительных криков туземцев слышно было, как оркестр «архангелов» выбивал: «Так как все они славные малые» и потом – обращаясь к проигрывавшей команде: «О, о, Кафузалум! Кафузалум! Кафузалум!»

Кроме всего этого, главнокомандующий, главный инспектор кавалерии и начальник ветеринарной части во всей Индии, стоя в полковом экипаже, кричали, как школьники, а бригадиры, полковники, комиссионеры и сотни хорошеньких леди присоединились к общему хору. Но Мальтийская Кошка стояла, опустив голову, обдумывая, сколько у неё осталось ног. Лютиенс смотрел, как люди и пони выбирались из-под обломков двух шестов, и нежно гладил Кошку.

– Слушайте, – сказал капитан «архангелов», выплёвывая изо рта камешек, – хотите три тысячи за этого пони – вот каков он есть?

– Нет, благодарю вас. Я убеждён, что он спас мне жизнь, – сказал Лютиенс.

Он сошёл с лошади и растянулся на земле. Обе команды были на площадке, размахивая в воздухе сапогами, кашляя и

тяжело дыша. Саисы прибежали, чтобы взять пони, а предупредительный водовоз обрызгал игроков грязной водой так, что им пришлось сесть.

– Батюшки! – сказал Поуэлл, потирая спину и смотря на остатки шестов. – Вот так была игра!

Они вспоминали её, удар за ударом, в этот вечер на большом обеде, где «Общий Кубок» наполнялся и переходил из рук в руки вдоль всего стола, осушался и снова наполнялся, а все говорили самые красивые речи. Около двух часов утра, когда собрались поесть, в открытую дверь заглянула маленькая некрасивая серая головка.

– Ура! Впустите его! – кричали «архангелы».

Саис Мальтийской Кошки, который был действительно очень счастлив, погладил её по боку, и она вошла, хромая, при ярком свете в толпу блестящих мундиров, ища Лютиенса. Она привыкла к солдатским столовым, солдатским спальням и местам, где пони не всегда поощряются, а в молодости, на пари, вскакивала на стол и соскакивала с него. Поэтому она вела себя очень важно, ела хлеб, посыпанный солью, и принимала ласки со всех сторон, тихонько обходя весь стол. И все пили за её здоровье, потому что она сделала для выигрыша кубка больше, чем кто-либо из людей или лошадей, принимавших участие в игре.

Мальтийская Кошка заслужила честь и славу на всю свою жизнь и не очень сожалела, когда ветеринарный врач сказал, что она больше не годится для поло. Когда Лютиенс женился,

жена не позволила ему играть, и потому он принуждён был принимать участие в игре только в роли судьи. В таких случаях под ним бывал изъеденный блохами серый пони с аккуратным хвостом, совершенно хромой, но отчаянно быстрый на ноги и, как всем было известно, в давно прошедшее время – лучший игрок в поло.

# Сновидец

Трёхлетний ребёнок сидел на своей постельке и, сложив ручки, с глазами, полными ужаса, кричал изо всех сил. Сначала никто не слышал его, потому что детская была в западной части дома, а нянька разговаривала с садовником под лавровыми деревьями. Пришла экономка и бросилась утешать ребёнка. Он был её любимцем, и она не любила няньку.

– Что такое? Что такое? Джорджи, милый, нечего пугаться!..

– Там – там был полисмен! Он был на лужайке – я видел его! Он вышел. Джэн говорила, что он придёт.

– Полисмены не входят в дом, милочка. Повернись и возьми мою руку.

– Я видел его – на лужайке. Он вошёл сюда. Где ваша рука, Харпер?

Экономка подождала, пока рыдания перешли в правильное дыхание спящего, и тихонько вышла из комнаты.

– Джэн, что за глупости рассказывали вы про полисменов мастеру Джорджи?

– Я ничего ему не говорила.

– Вы говорили... Он видел их во сне.

– Мы встретили сегодня утром Тигсдаля, когда катались. Может быть, это ему и приснилось.

– Не пугайте мальчика вашими глупыми рассказами до



того, что с ним делаются припадки. Если это повторится ещё раз... – и т. д.

\* \* \*

Шестилетний ребёнок, лёжа в постели, рассказывал себе сказки. Это был талант, который он только что открыл в себе и хранил в тайне. Месяц тому назад ему пришлось продолжить детский рассказ, не dokonченный матерью, и он был в восторге, что рассказ, вышедший из его головы, так же интересен для него, как если бы он слушал все с начала до конца. В этом рассказе был принц, и он убивал драконов. Но так было только в ту ночь, а после того Джорджи производил себя в принцы, паши, убивал великанов и т. д. (поэтому, как видите, он не мог никому рассказывать из страха, что над ним будут смеяться), и рассказы его постепенно перенеслись в волшебную страну, где было так много приключений, что он не мог вспомнить и половины из них. Все они начинались одинаково, или, как объяснял Джорджи теням, бросаемым ночной лампой, всегда было «одно место, откуда все начиналось» – куча валежника, сложенная где-то вблизи берега. Вокруг этой кучи Джорджи видел себя бегающим наперегонки с маленькими мальчиками и девочками. Кончался бег, и корабли превращались в карточные домики с золочёными и зелёными решётками, окружавшими прекрасные сады; дома вдруг становились мягкими, и через них можно было про-

ходить и опрокидывать их. Так поступал он, пока не вспомнил, что это только сон. Все продолжалось только несколько секунд, а потом принимало реальный вид, и, вместо того, чтобы опрокидывать дома, наполненные взрослыми (назло им), он с жалким видом сидел на высочайшем приступке у дверей и пытался придумать напев для таблицы умножения, до четырёхжды шесть включительно.

Героиня его сказок была удивительной красоты. Она появилась из старого иллюстрированного издания сказок Гримма (в настоящее время уже распроданного), так как она всегда восхищалась храбростью Джорджи, когда он имел дело с драконами и буйволами, то он дал ей два прекраснейших имени, когда-либо слышанных им, – Анни и Луиза, производившихся «Аннилуиза». Когда сны брали верх над рассказами, она превращалась в одну из маленьких девочек, бегавших вокруг кучи валежника, сохраняя свой титул и корону. Она видела, как один раз Джорджи тонул в волшебном море (это было на другой день после того, как нянька взяла его купаться в настоящем море), и он сказал: «Бедная Аннилуиза, теперь ей будет жаль меня». Но Аннилуиза, медленно идя по берегу, крикнула: «Ха! Ха! – смеясь, сказала утка», – что для бодрствующего ума, казалось бы, не имело никакого отношения к делу. Это сразу утешило Джорджи и должно было представлять собой нечто вроде заговора, потому что дно моря поднялось, и он вышел оттуда с двенадцатидюймовым цветочным горшком на каждой ноге. Так как в действи-

тельной жизни ему было строго запрещено возиться с цветочными горшками, то он чувствовал себя торжествующим грешником.

\* \* \*

Решения взрослых, которые Джорджи презирал, но на понимание которых не претендовал, перенесли его мир, когда ему исполнилось семь лет, в место, называвшееся Оксфорд. Тут были громадные здания, окружённые обширными лугами, с улицами бесконечной длины и, главное, там был «the buttery».<sup>8</sup> Джорджи до смерти хотелось побывать там, потому что он думал, что это место жирное, а следовательно – восхитительное. Он убедился, насколько правильны были его предположения, когда нянька провела его под каменную арку к какому-то страшно толстому человеку, который спросил его, не хочет ли он хлеба с сыром. Джорджи привык есть все что угодно, поэтому он взял предложенное и выпил бы и какой-то тёмной жидкости, которую ему предлагали, но нянька увела его на вечернее представление пьесы под названием «Дух Пеппера». Представление было поразительное. У людей слетали головы и летали по всей сцене, скелеты танцевали, а сам мистер Пеппер, без сомнения, человек наихудшего сорта, размахивал руками, громко завывал и низким басом

---

<sup>8</sup> «The buttery» – студенческий буфет. «Butter» – масло, вот почему Джорджи и считает его масляным, жирным.

(Джорджи никогда не слышал поющего человека) рассказывал о своих невыразимых горестях. Сидевший позади взрослый пробовал объяснить ему, что это иллюзия, производимая зеркалами, и что бояться нечего. Джорджи не знал, что такое иллюзия, но знал, что зеркало – это стекло с ручкой из слоновой кости, в которое смотрятся, и лежит оно на туалетном столике его матери. Поэтому «взрослый» говорил просто так, по несносной привычке взрослых, и Джорджи стал отыскивать себе развлечение в промежутках между сценами. Рядом с ним сидела девочка вся в чёрном, с волосами, зачёсанными назад, совершенно как у девочки в книге под названием «Алиса в стране чудес», которую ему подарили в день его рождения. Девочка взглянула на Джорджи, а Джорджи на неё. По-видимому, дальнейшего представления друг другу не требовалось.

– Я порезал себе большой палец, – сказал он. Это было первое дело его первого настоящего ножа – большой треугольный порез, – и он считал это чрезвычайно ценным приобретением.

– Мне так жаль тебя, – шепелявя, проговорила она. – Дай мне посмотреть, пожалуйста.

– На нем пластыри, а внизу видно мясо, – ответил Джорджи, соглашаясь на её просьбу.

– Тебе не больно? – Её серые глаза были полны сострадания и интереса.

– Ужасно. Может быть, у меня даже будет припадок.

– На вид очень страшно! Мне так жаль!

Она дотронулась до его руки указательным пальцем и склонила голову набок, чтобы лучше видеть.

Тут нянька обернулась и дёрнула его со строгим видом.

– Не следует говорить с чужими девочками, мистер Джорджи.

– Она не чужая. Она очень милая. Она мне нравится, и я показал ей мой порез.

– Что за глупости! Поменяйтесь местами со мной.

Она пересаживала Джорджи так, что закрыла от него девочку, а взрослый позади него возобновил свои бесплодные объяснения.

– Я, право, не боюсь, – сказал мальчик, вертясь в отчаянии, – но отчего вы не спите после полудня, как Провостофориель?

Джорджи однажды представили взрослому, носившему это имя, который спал в его присутствии, несколько не стесняясь. Джорджи узнал тогда, что это самый важный из взрослых людей в Оксфорде;<sup>9</sup> поэтому-то он постарался теперь позолотить своё замечание лестью. Взрослому это, по-видимому, не понравилось, но он замолчал. И Джорджи откинулся на своём месте в безмолвном восторге. Мистер Пеппер снова цел, и его низкий, звучный голос, красный огонь и туманная, развевающаяся одежда, казалось, сливались с маленькой девочкой, которая так сочувственно отнеслась к его порезу.

---

<sup>9</sup> **The provost** – городской голова.

Когда представление окончилось, она кивнула Джорджи, и Джорджи кивнул в ответ ей. До тех пор как лечь в постель он говорил только самое необходимое, а сам все размышлял о новых оттенках цветов, звуках, свете, музыке и о разных вещах, сообразно своему пониманию; глубокий, полный отчаяния голос мистера Пеппера смешивался с шепелявым голосом девочки. В эту ночь он сочинил новый рассказ, из которого бесстыдно удалил принцессу из сказок Гримма, с чёрными волосами и золотой короной на голове, и поставил на её место другую Аннилуизу. Поэтому вполне естественно, что, когда он пришёл к куче валежника, он нашёл её ожидающей его, с волосами, зачёсанными назад, ещё более похожую на Алису из «Страны чудес», – и начались бега и приключения.

\* \* \*

Десять лет, проводимых в английской общественной школе, не содействуют развитию мечтательности. Джорджи вырос, стал шире в плечах и приобрёл ещё некоторые особенности, благодаря системе игр в крикет, футбол и другим видам спорта, практиковавшимся дней четыре-пять в неделю. Он стал фагом<sup>10</sup> третьего низшего класса, со смятым воротником и покрытой пылью шляпой. Пройдя затем через низ-

---

<sup>10</sup> **Fag** – прозвище, даваемое в английских школах младшим ученикам, исполняющим обязанности слуг у старших.

шие ступени, он достиг полного расцвета, как старшина школы и капитан во всех играх. Он стал главой одного из домов, где помещались школьники. Тут он со своими лейтенантами поддерживал дисциплину и приличия среди семидесяти мальчиков от двенадцати до семнадцати лет. Он являлся обычно посредником в спорах, возникающих среди обидчивого шестого класса, и близким другом и союзником самого директора. Когда он выходил вперёд, в чёрной фуфайке, белых штанах и чёрных чулках, в числе первых пятнадцати, с новым мячом под мышкой, в старой потёртой фуражке на затылке, мелюзга низших классов, стоя в сторонке, благоговела перед ним, а новые капитаны команды нарочно разговаривали с ним, чтобы все видели это. Когда летом он возвращался в павильон после медленно, но вполне безукоризненно разыгранной игры, школьники неизменно приветствовали его громкими криками, хотя бы он ничего особенного не сделал, а даже и проиграл; женское общество, приходившее полюбоваться на игру, смотрело на Коттара: «Вот Коттар!» Дело в том, что он был ответствен за то, что называлось «духом школы», а мало кто представляет себе, с какой страстью некоторые мальчики отдаются этому делу. Родной дом казался далёкой страной, наполненной пони, рыбной ловлей, охотой и гостями, мешавшими планам жизни самостоятельного человека; но школа была его действительным, реальным миром, где происходили события жизненной важности и кризисы, которые нужно было улаживать быстро и спокойно.

но. Не напрасно писано: «Консулы должны заботиться, чтобы республике не было нанесено вреда», и Джорджи бывал рад, когда возвращался с вакации и снова пользовался властью. За ним, но не слишком близко, стоял умный и сдержанный директор, советовавший пускать в ход то мудрость змия, то кротость голубя, заставляя его, скорее полунамёками, чем словами, понимать, что мальчики и взрослые мужчины совершенно одно и то же и что тот, кто умеет справиться с одними, в своё время сумеет управлять и другими.

Чувствительность не поощрялась в школьниках; они должны были быть всегда бодрыми и смелыми и прямо поступать в армию, без помощи дорогих английских репетиторов, под кровлею которых юная кровь научается слишком многому. Коттар прошёл по пути многих, шедших перед ним. Директор посвятил полгода на его окончательную отделку, научил его ответам, которые должны наиболее понравиться экзаменаторам известного рода, и передал его установленным властям, которые отправили его в военную школу Сэндхерст. Тут у него хватило ума, чтобы понять, что он снова находится в низшем классе, и вести себя почтительно к старшим, пока они, в свою очередь, не стали относиться к нему с почтением; он был произведён в капралы и получил власть над людьми, соединявшими в себе пороки взрослых и детей. Наградой ему был новый ряд кубков за подвиги в атлетическом спорте, сабля за хорошее поведение и, наконец, патент её величества на субалтерн-офицера в перво-



классном пехотном полку. Он не знал, что из школы и коллегии он вышел с репутацией достойного уважения юноши, и был доволен, что товарищи встретили его так ласково. У него было много собственных денег. На нем остался отпечаток воспитания в общественной школе, которое научило его многому, «чего не должен делать порядочный человек». Благодаря этому воспитанию он научился держать свои уши открытыми, а рот закрытым.

Правильный ход дел в империи перекинул его в новый мир, в Индию, где он вкусил полное одиночество в положении субалтерн-офицера, состоявшем из одной комнаты и чемодана из телячьей кожи, и вместе с товарищами начал новую жизнь. В стране были лошади – пони, которых можно было купить по сходной цене; было поло для тех, кто мог доставить себе это удовольствие; были пользовавшиеся дурной репутацией остатки охотничьих собак, и Коттар проводил свою жизнь без особого отчаяния. Ему стало ясно, что в полку, стоящем в Индии, есть больше шансов нести активную службу, чем он представлял это себе раньше, и что человеку можно заняться изучением своей профессии. Один майор новой школы с энтузиазмом поддержал эту мысль; он и Коттар собрали целую библиотеку книг по военным вопросам, читали, доказывали и спорили до поздней ночи. Но адъютант высказал старинное мнение:

– Познакомьтесь-ка со своими людьми, юноша, и они всюду пойдут за вами. Вот что нужно всем вам – хорошо знать

своих людей.

Коттар считал, что он хорошо узнал их во время игры в крикет и всякого полкового спорта, но истинную натуру их он узнал только тогда, когда его послали с отрядом в двадцать человек засесть в грязный форт, недалеко от стремительного потока, загромождённого целым рядом лодок. Когда вода в реке поднималась, они выходили и охотились за оторвавшимися понтонами вдоль берегов. Больше делать было нечего, и люди напивались, картежничали и ссорились. Кроме того, они оказались болезненными: ведь младшему офицеру обыкновенно даются худшие люди. Коттар терпел их буйство, пока хватало терпения, и, наконец, послал за дюжиной перчаток, употребляемых для бокса.

– Я не стал бы вас бранить за драку, – сказал он, – если бы вы умели пользоваться руками как следует. Возьмите вот эти вещи; я покажу вам, что надо делать.

Солдаты оценили его усилия. Вместо того чтобы богохульствовать, грозить убить товарища, они отзывали его в сторонку и утешались до полного истощения. Один солдат, которого Коттар застал с закрытым глазом и разбитым ртом, откуда он выплёвывал кровь, сказал ему:

– Мы пробовали проделать это с перчатками, сэр, в продолжение двадцати минут, и ничего хорошего не вышло, сэр. Тогда мы сняли перчатки, сэр, и попробовали ещё двадцать минут, так, как вы показывали нам, сэр, и вышло страшно хорошо. Это была не драка, сэр, а пари.

Коттар не смел рассмеяться, но он показал солдатам другие виды спорта; научил их бегать в рубашках и кальсонах по следу, отмеченному клочками бумаги, – отличная забава по вечерам. Местные жители, любившие спорт всякого вида, захотели узнать, смыслят ли белые люди что-нибудь в борьбе. Они послали борца, который брал солдат за шеи и бросал их в пыль, и вся команда увлеклась новой игрой. Они тратили на изучение игры деньги, которые могли бы истратить на покупку продуктов сомнительного качества; а толпы крестьян, улыбаясь, окружали место турнира.

Отряд, отправившийся в повозках, вернулся в главную квартиру, сделав в среднем по тридцати деталей в день; не было ни больных, ни арестантов, ни одного под судом. Солдаты рассеялись среди друзей, воспевая своего лейтенанта, готовые при удобном случае обидеться за него.

– Как вы это сделали, юноша? – спросил адъютант.

– О, сначала согнал с них весь жир, а потом нарастил мускулы. Это было довольно весело.

– Ну, если вы так смотрите на дело, то мы можем доставить вам сколько угодно веселья. Молодой Дэвис считает себя не вполне пригодным, а на следующий раз его очередь идти с отрядом. Хотите идти вместо него?

– Если он не обидится. Видите ли, мне не хочется быть выскочкой.

– Не беспокойтесь насчёт Дэвиса. Мы дадим вам отбросы корпуса и посмотрим, что вы сделаете с ними.

– Ладно, – сказал Коттар. – Это приятнее, чем слоняться по стоянкам.

– Странное существо, – сказал адъютант, когда Коттар вернулся в свою пустыню с двадцатью дьяволами, худшими, чем первые. Если бы Коттар знал, что половина женщин в стране – черт побери их! – готова отдать глаза, чтобы победить его!

– Так вот почему миссис Элери говорила мне, что я заставляю слишком много работать моего нового милого мальчика, – заметил один из офицеров.

– О, да; «Почему он не приходит по вечерам?» и «Не может ли он быть четвёртым в теннис вместе с барышнями Гаммон?» – фыркнул адъютант. – Взгляните на молодого Дэвиса. Как он разыгрывает осла, ухаживая за женщиной, которая могла бы быть его матерью.

– Никто не может обвинить молодого Коттара в том, что он бегаёт за женщинами, какие бы они ни были – белые или чёрные, – задумчиво ответил майор. – Но он именно из тех, что в конце концов размякают хуже остальных.

– Коттар не из них. Мне раз случилось встретиться в Южной Африке с такого рода экземпляром – неким Инглесом. Он был такой же хорошо тренированный любитель всевозможных атлетических видов спорта. Всегда был в прекрасной форме. Но немного это принесло ему пользы. Убит при Вассельстроме. Интересно, как юноше удастся привести в порядок этот отряд.

Шесть недель спустя Коттар вернулся пешком со своими учениками. Он ничего не рассказывал, но солдаты восторженно говорили о нем, и отрывки из их рассказов долетали до слуха полковника через сержантов и других низших чинов.

Между первым и вторым отрядами царила сильная зависть, но все солдаты обожали Коттара и доказывали это тем, что оберегали его от всяких неприятностей, которые умели причинять нелюбимым офицерам. Он не искал популярности так же, как не искал её и раньше в школе, и потому она сама пришла к нему. Он никого не выделял – даже известного в полку лентяя, который спас партию крикета в последнюю минуту. Обойти его было очень трудно, потому что он обладал каким-то инстинктом. Он знал, каким образом и когда накрыть притворщика. Но он знал также, что между блестящим и надутым учеником высшей школы и смущённым, нахмуренным, неуклюжим рядовым, только что поступившим на службу, весьма мало разницы. Благодаря его обращению, сержанты рассказывали ему тайны, обыкновенно скрываемые от молодых офицеров.

Его слова приводились как авторитет в казармах, лагерных шинках, за чаем; и самая отчаяннейшая ведьма в корпусе, горевшая желанием высказать обвинения против других женщин, завладевших вне очереди кухонными таганями, молчала, когда Коттар, как полагалось по правилам, спрашивал поутру, нет ли каких-нибудь жалоб.

– У меня масса жалоб, – говорила миссис Моррисон, – и я убила бы эту толстую корову, жену О'Халлорана, но вы знаете, как это у него бывает. Он только сунет голову в дверь, посмотрит из-под опущенных ресниц и шепнёт: «Есть жалобы?» После этого и не можешь жаловаться. Мне хочется поцеловать его. И я думаю, поцелую в один прекрасный день. Да, счастливая будет та женщина, которая получит «юную невинность». Взгляните-ка на него, девушки. Станете ли вы порицать меня?

Коттар ехал лёгким галопом по площадке для игры в поло. Действительно, он казался очень красивым представителем мужского пола, когда сидел на своём пони, давая волю первым взволнованным прыжкам его. Через низкую глиняную ограду он перескочил на площадку. Не одна миссис Моррисон чувствовала то, что она высказала. Но Коттар был занят одиннадцать часов в сутки. Он не желал портить теннис присутствием юбок; однажды, после долгого времени, проведённого на «garden-party», он объяснил своему майору, что все это «одна чепуха и вздор», и майор расхохотался. В полку не было женатых; только у полковника была жена, и Коттар испытывал страх перед этой леди. Она говорила «мой полк», а весь свет знает, что это значит. Но, когда офицеры пожелали, чтобы она раздавала призы за стрельбу, а она отказывалась, потому что один из взявших приз был женат на девушке, которая за её широкой спиной подшутила над ней, офицеры приказали Коттару пойти к ней в лучшем мундире и умас-

лить её. Это он сделал просто и старательно, и она уступила.

– Она только желала узнать факты, – объяснял он. – Я рассказал ей, и она поняла сразу.

– Да-а, – сказал адъютант. – Думаю, что поняла. Пойдёте сегодня на бал к пехотинцам?

– Нет, благодарю. У меня сражение с майором.

Добродетельный ученик просидел до полуночи в квартире майора с часами в руках и с двумя компасами, передвигая маленькие, раскрашенные жестяные кусочки по карте в четыре дюйма.

Потом он вернулся домой и заснул сном невинности, полным здоровых сновидений. Одну особенность своих снов он заметил в начале второго засушливого сезона, проводимого им в этой стране. Они повторялись раза два-три в месяц или шли сериями. Он чувствовал, что переходит в царство сновидений все той же дорогой – дорогой, которая шла вдоль берега вблизи кучи валежника. Направо лежало море; иногда в нем бывал прилив, иногда отлив обнажал дно до самого горизонта. Этим путём он шёл по постепенно возвышающемуся холму, покрытому короткой, засохшей травой, в долины чудных сновидений. За хребтом, увенчанным чем-то вроде уличного фонаря, все было возможно; но до фонаря путь казался ему так же хорошо знакомым, как площадь для разводов. Он привык ждать встречи с этим местом; раз добравшись туда, он был уверен в хорошо проведённой ночи, а в жаркое время в Индии переносить ночь доволь-

но трудно. Сначала за густыми зарослями появлялись смутные очертания кучи валежника, затем белый песок прибрежной дороги, почти нависшей над чёрным, задумчивым морем, потом поворот в глубь страны и вверх по холму. Когда почему-либо ему не спалось, он говорил себе, что, наверно, будет там – наверно, будем там, – если закроет глаза и отдастся ходу событий. Но однажды ночью, после безумно трудной игры в поло (в десять часов температура в его помещении была 94°), сон совершенно покинул его, хотя он делал все возможное, чтобы найти хорошо знакомую дорогу, место, с которого начинался настоящий сон. Наконец, он увидел кучу валежника и бросился вперёд, потому что чувствовал позади себя проснувшийся душный мир. Он благополучно добрался до фонаря, в полудремоте, как вдруг полисмен – простой деревенский полисмен – выскочил перед ним и дотронулся до его плеча прежде, чем он успел погрузиться в туманную долину внизу. Он был полон ужаса – безнадежного ужаса сновидений, – потому что полицейский сказал ужасным, отчётливым голосом, каким говорят люди в сновидениях: «Я – полисмен День, возвращающийся из города Сна. Пойдём со мной». Джорджи знал, что это правда, как раз в долине виднеются огоньки города Сна, где его могли бы укрыть; знал, что этот полисмен обладал полной властью и авторитетом, благодаря которым мог увести его обратно к жалкому бодрствованию. Он почувствовал, что смотрит на лунный свет на стене и что пот льёт с него ручьями от страха;



и ему никогда не удавалось одолеть этого страха, хотя в течение этого жаркого времени года он часто встречал полисмена, и появление его было предвестником плохой ночи.

Но другие сны – совершенно нелепые – наполняли его душу невыразимым восторгом. Все, которые он помнил, начинались у кучи валежника. Например, он нашёл маленький пароход (он заметил его много ночей тому назад), лежавший у приморской дороги, и взошёл на него, после чего пароход двинулся с изумительной быстротой по совершенно гладкому морю. Это было чудесно, потому что, как он чувствовал, он выполнял важные дела; пароход остановился у лилии, высеченной из камня, которая вполне естественно плыла по воде. Увидев, что на лилии была надпись «Гонг-Конг», Джорджи сказал: «Конечно. Именно так, как я представлял себе Гонг-Конг. Как великолепно!» Через тысячу миль пароход остановился у другой каменной лилии с надписью «Ява»; и это снова привело его в восторг, потому что знал, что теперь он на краю света. Но маленькое судно плыло все дальше и дальше, пока не остановилось у шлюза пресной воды, стены которого были из резного мрамора, позеленевшего от мха. Широкие полосы лилий плавно качались на воде, а тростинки сплетались сверху. Кто-то двигался среди тростников – кто-то, увидеть которого Джорджи приехал, как он знал, на край света. Поэтому все было очень хорошо. Он был невыразимо счастлив и спустился с борта парохода, чтобы найти это существо. Когда ноги его коснулись

тихой воды, она превратилась, с шорохом развёртывающихся географических карт, ни более ни менее, как в новую шестую часть света, местность, превосходящую всякое человеческое воображение, где острова окрашены в цвета жёлтый и голубой. Названия их, написанные крупными буквами, бросались в глаза. Они выходили на незнакомые моря, и Джорджи страстно желал быстро вернуться по этому плавающему атласу к знакомым местам. Он несколько раз повторял себе, что торопиться некуда; но все же торопился отчаянно, и острова ускользали из-под его ног, проливы разверзались и расширялись, пока он не потерялся в четвёртом измерении мира, без надежды когда-либо вернуться. Но неподалёку он мог видеть старый мир с реками и цепями гор, отмеченными на картах. Тут та, для которой он явился в «Ущелье Лилии» (так называлось это место), помчалась по неведомым просторам, указывая ему путь. Они бежали рука об руку, пока не добежали до дороги, которая соединяла рвы, шла по краю пропасти и проходила туннелями в горах. «Она идёт к нашей куче валежника», – сказала его спутница; и все его волнения окончились. Он взял пони, потому что понял, что это «тридцатимильная прогулка», и он должен ехать быстро; и он помчался через шумные туннели, огибая извилины, все ниже по холму, пока не услышал шум моря слева и не увидел, как оно яростно билось при свете месяца о песчаные утёсы. Путь был трудный, но он узнал природу этой страны, темно-пурпуровые равнины её, траву, шелестевшую на вет-

ру. Дорога местами была размыта, и море ударяло в неё чёрными, лишёнными пены языками гладких, блестящих валов; но он был уверен, что море представляет для него меньше опасности, чем «они» – кто бы ни были эти «они» – те, что находятся внутри страны, направо от него. Он знал также, что будет в безопасности, если доберётся до равнины со стоящим на ней фонарём. Все случилось, как он ожидал: он увидел свет на расстоянии мили впереди на берегу, сошёл с лошади, повернул направо, спокойно подошёл к куче валежника, нашёл, что маленький пароход вернулся к берегу, от которого он отчалил, и – должно быть, уснул, потому что ничего больше не помнил.

– Я узнаю это место, – сказал он себе во время бритья на следующее утро. – Я, вероятно, проделал нечто вроде круга. Посмотрим. «Тридцатимильная прогулка» (как, черт возьми, я узнал это название?) соединяется с приморской дорогой за первым песчаным холмом, где стоит фонарь. А вся эта страна из атласа лежит позади «тридцатимильной прогулки», где-то направо, за холмами и туннелями. Странная это вещь, сны. Удивительно, что мои всегда так связаны между собой.

Он продолжал так же усердно исполнять обязанности, связанные с переменами времён года. Полк перевели на другую стоянку, и он с наслаждением провёл в походе два месяца, много охотясь в свободное время; а когда дошли до места новой стоянки, стал членом местного клуба и начал охо-

титься с короткими копьями на могучих кабанов. Это было так же ново и увлекательно, как охота на крупную дичь, выпавшая на его долю. Он сделал фотографию для матери, на которой был изображён сидящим рядом с первым убитым им тигром.

Адъютанту дали новое назначение; и Коттар радовался за него, потому что он восхищался адъютантом и не мог представить себе, кто мог бы быть настолько значительным, чтобы занять его место; поэтому он чуть было не упал в обморок, когда эта мантия опустилась на его собственные плечи, и полковник сказал ему несколько любезных слов, заставивших его покраснеть. Положение адъютанта, в сущности, не отличается от положения главы школы, и Коттар оказался в тех же отношениях с полковником, в каких он был в недалёком прошлом со своим начальником в Старой Англии. Но характеры портятся в жаркое время года, и то, что говорилось и делалось, сильно огорчало его, и он делал крупные ошибки, исправить которые помогал сержант-майор, человек с верной душой и замкнутыми устами. Лентяи и люди некомпетентные выходили из себя; слабоумные старались увлечь его с пути справедливости; люди ограниченные – даже те, про которых Коттар думал, что они никогда не сделают того, чего не должен сделать ни один порядочный человек, – приписывали низкие и вероломные мотивы действиям, о которых он не раздумывал ни одной минуты; он испытал несправедливость, и это было очень тяжело для него. Но

утешение наступало для него на параде, когда он видел отряды в полном составе и думал о том, как мало людей в больнице, или в карцерах, или о том, как скоро наступит время испытания для его деятельности, полной труда и любви. Но от него требовали и ждали непрерывной работы в течение целого трудового дня и трех-четырёх часов ночи. Любопытно, что он никогда не видел во сне полка, хотя все предполагали это. Его ум, освобождённый от дневной работы, обыкновенно совершенно переставал работать, а если и действовал, то уносил его вдоль старинной приморской дороги к песчаным холмам, фонарному столбу, а иногда к ужасному полисмену Дню. Когда во второй раз он попал на потерянный для мира континент (этот сон повторялся постоянно, с разными вариациями, все на том же месте), он знал, что если только будет сидеть смиренно, то существо, которое являлось ему из «Ущелья Лилии», поможет ему: и ему не пришлось разочароваться. Иногда он попадал в огромные ямы, вырытые в сердце мира, где люди распевали песни, разносимые эхом; и он слышал, как «оно» шло по галереям, и все вокруг становилось безопасным и восхитительным. Они снова встречались в купе индийских вагонов с низкими крышами, которые останавливались в саду, окружённом золочёными и зелёными решётками, где толпа каменных белых людей, враждебно настроенных, сидела за обеденными столами, покрытыми розами, и разделяла Джорджи и его спутника, а под землёй пели песни низкими басами. Джорджи бывал в глу-

боком отчаянии до тех пор, пока они снова не встречались среди бесконечной жаркой тропической ночи и пробирались в громадный дом, который, он знал, стоял где-то на севере от железнодорожной станции, на которой люди ели среди роз. Дом был окружён садами. На листьях деревьев дрожали капли дождя; а в одной комнате, до которой нужно было пройти целые мили коридоров с белыми стенами, кто-то больной лежал в кровати. Джорджи знал, что от малейшего шума произойдёт нечто ужасное, и его спутник знал это; но когда глаза их встретились, Джорджи с разочарованием увидел, что его спутник – ребёнок, маленькая девочка в башмачках, с чёрными, зачёсанными назад волосами.

«Что за постыдное безумие! – подумал он. – Она ничего не сможет сделать, если появится „это существо“».

«Это существо» закашляло, и с потолка упала штукатурка на сетку от москитов, а «они» бросились со всех сторон. Джорджи вытащил ребёнка из удушливого сада; голоса пели позади них; и они пронеслись по «тридцатимильной прогулке», пустив в ход хлыст и шпоры, вдоль песчаного берега шумевшего моря, пока не достигли песчаных холмов, фонарного столба и кучи валежника, что означало безопасность. Очень часто сновидения прекращались на том, что они разлучались, чтобы переживать ужасные приключения поодиночке. Но самое забавное бывало, когда он и она встречались, ясно понимая, что все это происходит не наяву, и переходили бушующие реки, шириною в милю, даже не сни-

мая сапог, или поджигали населённые города, чтобы посмотреть, как они будут гореть, и были грубы, как дети, со всеми неясными тенями, встречавшимися во время их бродяжничества. Позднее ночью они расплачивались за это, страдая или от железнодорожных людей, евших среди роз, или в тропических возвышенностях в дальнем конце «тридцатимильной прогулки». Это не очень пугало их, когда они бывали вместе, но часто Джорджи слышал её пронзительное восклицание: «Мальчик, мальчик!» – издавелека, точно из другого мира, и бросался на помощь ей прежде, чем «они» успевали обидеть её.

Он и она исследовали темно-пурпуровые холмы настолько далеко от кучи валежника, насколько осмеливались, но это бывало всегда опасным предприятием. Центральная часть страны была полна «ими», и «они» ходили, распевая, по пещерам, и Джорджи и она чувствовали себя безопаснее на морском берегу или вблизи него. Он так хорошо изучил местность своих снов, что даже наяву принимал её за действительно существующую страну и сделал грубый набросок её. Конечно, он никому не говорил об этом; но неизменяемый вид страны в его сновидениях смущал его. Обыкновенные его сны были бесформенны и проходящи, как все здоровые сны, но раз действие происходило у кучи валежника, он двигался в знакомых пределах и мог видеть, куда идёт. Случалось, что несколько месяцев подряд ничего замечательного не бывало в его снах. Потом сразу шло пять-шесть снов,

и на следующее утро на карте, которую он держал в своём бьюаре, записывалось число, потому что Джорджи был человек чрезвычайно аккуратный. Среди старших говорили, что ему угрожает опасность превратиться в настоящую «тётушку-хлопотунью», а когда у офицера есть склонность стать старой девой, то даже для семидесятилетней девы есть большие надежды на исправление, чем для него.

Но судьба послала необходимую перемену в виде маленькой зимней кампании на границе, которая, по свойству всех маленьких кампаний, переросла в очень некрасивую войну. Полк Коттара был избран одним из первых.

– Ну, – сказал майор, – это стряхнёт паутину со всех нас, в особенности с вас, Галаад, и мы увидим, что вышло из полка после того, как вы сидели над ним, словно наседка над цыплятами.

Коттар чуть не плакал от радости, когда началась кампания. Его люди оказались готовыми – физически готовыми лучше других; в лагере, промокшие или сухие, накормленные или ненакормленные, они были добрыми ребятами; и они шли за своими офицерами с ловкостью и тренированным послушанием лучших игроков в футбол. Они по необходимости отступили от первоначальной базы и искусно и легко вернули её; они подымались на вершины холмов и освобождали их от врагов, которых преследовали, как охотничьи собаки, а в час отступления, когда их, обременённых больными и ранеными, враги преследовали на протяжении



одиннадцать миль безводной долины, они, служа арьергардом, покрыли себя славой в глазах собратьев-профессионалов. Каждый полк может наступать, но мало кто умеет отступать, «имея жало в хвосте». Потом они вернулись, провели дороги, большей частью под огнём, и срыли некоторые неудобные глиняные редуты. Их корпус был отозван последним, когда весь хлам кампании был сметён; и после месяца стоянки лагерем, сильно действующей на нравственное состояние, они отошли на своё прежнее место с песнями.

Вышла «Газета», из которой Коттар узнал, что он держал себя «с мужеством, хладнокровием и умением» во всех отношениях; что он помогал раненым под огнём и взорвал ворота также под огнём.

В результате – сначала чин капитана, а затем патент на чин майора.

Что касается раненых, то он объяснил, что оба были очень тяжёлые люди, которых ему было поднять легче, чем кому бы то ни было другому. «Иначе я, конечно, послал бы кого-нибудь из моих ребят; а насчёт ворот, конечно, мы были в безопасности, как только очутились под стенами». Но это не помешало его солдатам приветствовать его восторженными криками всякий раз, как они видели его, а офицерам дать в его честь обед накануне его отъезда в Англию. (Годовой отпуск был одним из преимуществ, доставленных ему кампанией, по его словам.) Доктор, выпивший достаточно, прочёл поэтическое произведение о «добром клинке и о блестящем

шлеме» и т. д., и все говорили Коттару, что он превосходный человек; но когда он встал, чтобы произнести свою первую речь, все кричали так, что, как говорят, он сказал:

– Не стоит говорить, когда вы так портите меня. Сыграем-ка лучше пульку.

\* \* \*

Довольно приятно провести четыре недели на пароходе, легко идущем по тёплым водам, в обществе женщины, которая даёт вам понять, что вы на голову выше целого света, хотя бы эта женщина, как часто бывает, была годков на десять старше вас. Пароходы Тихого океана освещены не с такой отвратительной размеренностью, как пароходы атлантические. На носу у них больше света, а у колёса – тишины и полумрака.

Страшные вещи могли бы случиться с Джорджи, если бы не тот небольшой факт, что он никогда не изучал основных правил той игры, в которой ожидали его участия. Поэтому, когда миссис Зулейка в Адене сказала ему, какой материнский интерес она принимает в его судьбе, медалях, патенте и во всем вообще, Джорджи принял её слова буквально и поспешно заговорил о своей матери, приближавшейся к нему ежедневно на триста миль, о своём родном доме и так далее и разговаривал всю дорогу до Красного моря. Оказалось, что разговаривать с женщиной в продолжение часа гораздо

легче, чем он предполагал. Потом миссис Зулейка, покинув родительскую привязанность, заговорила о любви абстрактно, как о предмете, против изучения которого ничего нельзя сказать, и в послеобеденные сумеречные часы требовала, чтобы он поверил ей свои тайны. Джорджи с восторгом сообщил бы их, но у него никаких тайн не было, и он не знал, что обязан был сфабриковать признания. Миссис Зулейка выразила удивление и недоверие и предложила самые заковыристые вопросы. Она узнала все, что было необходимо, чтобы убедиться в истине, и так как была вполне женщиной, то снова приняла (Джорджи так и не узнал, что она оставляла его) свой материнский тон.

– Знаете, – сказала она где-то на Средиземном море, – я думаю, вы самый милый мальчик, какого мне доводилось встречать в жизни, и мне хотелось бы, чтобы вы немного помнили меня. Вы вспомните, когда станете старше, но мне хочется, чтобы вы помнили и теперь. Вы сделаете какую-нибудь девушку очень счастливой.

– О, надеюсь, – серьёзно сказал Джорджи, – но до женитьбы и всего такого ещё много времени, не правда ли?

Ему очень нравилась миссис Зулейка. Конечно, она была немного стара, но необычайно мила. Она не была склонна ни к каким глупостям.

Через несколько ночей после того, как проехали Гибралтар, старый сон вернулся к нему. Та, которая ожидала его у кучи валежника, была уже не маленькая девочка, но жен-

щина с чёрными волосами, зачёсанными назад. Он узнал в ней девочку в чёрном, спутницу последних шести лет, и, как это было во время встреч на Потерянном Континенте, душа его наполнилась невыразимым восторгом. «Они», по какой-то причине, известной только в стране сновидений, были расположены дружески или удалились куда-то в эту ночь, и Джорджи со своей спутницей обошли всю свою страну от кучи валежника до «тридцатимильной прогулки», пока не увидели дом «больного существа», у сосновой рощи вдали, налево; они прошли по пассажирскому залу, где на накрытых столах лежали розы; и вернулись через залив и через город, который они некогда сожгли ради спортивного интереса, к большим покатосям холмов под фонарным столбом. Куда бы они ни шли, из-под земли несло громкое пение, но в эту ночь не было панического ужаса. Вся страна была пустынная. Наконец (они сидели у фонарного столба, рука об руку) она обернулась и поцеловала его. Он проснулся, вздрогнув, и пристально взглянул на развевающуюся занавеску двери каюты; он готов был поклясться, что поцелуй был реальный.

На следующее утро пароход попал в качку в Бискайском море, и пассажиры страдали; но когда Джорджи пришёл к завтраку выбритый, вымытый и пахнувший мылом, многие взглянули на него: так блестели его глаза и так бодр был его вид.

– Ну, у вас чертовски хороший вид, – отрывисто сказал один из его соседей. – Уж не получили ли вы наследства

здесь, посреди моря?

Джорджи потянулся за соей с ангельской улыбкой.

– Я думаю, это потому, что приближаешься к дому, и все такое. Я чувствую себя несколько празднично настроенным сегодня. Качает немного, не правда ли?

Миссис Зулейка оставалась в своей каюте до конца путешествия и ушла, не простясь с ним. На палубе она страстно плакала от радости, что встретила со своими детьми, так похожими, как часто говорила она, на их отца.

Джорджи направился в своё графство, в диком восторге от первого отпуска после долгих лет. Ничто не переменялось в спокойной жизни его родного дома, начиная с кучера, который встретил его на станции, до белого павлина, яростно кричавшего на экипаж с каменной стены, окружавшей подстриженные лужайки. Дом встретил его согласно обычным правилам – сначала мать, потом отец; потом экономка, которая плакала и возносила хвалы Богу; потом дворецкий, и так дальше до сторожа, который во время юности Джорджи смотрел за собаками и называл его и теперь «мастер Джорджи», за что и получил выговор от грума, который учил Джорджи верховой езде.

– Ничто не изменилось, – с довольным вздохом сказал он, когда они втроем сели обедать при лучах позднего солнца; кролики выползли из-под кедра на лужайку, а большие форели в прудах высунулись из воды, ожидая своего ужина.

– Наши перемены уже дело прошлое, милый, – нежно ска-

зала мать, – а теперь, когда я привыкла к твоему росту и загару (ты очень смугл, Джорджи), я вижу, что ты несколько не изменился. Ты очень похож на своего «патера».

Отец радостно улыбался, глядя на сына – человека вполне по его вкусу. Самый молодой майор в армии и должен был бы получить орден Виктории. Дворецкий слушал, забыв о своей профессиональной маске, как мастер Джорджи рассказывал о современной войне и как отец расспрашивал его.

Они вышли на террасу покурить среди роз, и тень старого дома легла на удивительную английскую листву – единственную живую зелень в мире.

– Чудесно! Клянусь Юпитером, чудесно! – Джорджи смотрел на лес за оградой дома, где были расставлены вольеры для фазанов; золотой воздух был полон сотнями священных запахов и звуков. Джорджи почувствовал, как рука отца крепче сжала его руку.

– Ведь не так дурно, а? Я предполагаю, что в один прекрасный день ты явишься под руку с какой-нибудь молодой девушкой; а, может быть, у тебя уже есть такая, а?

– Можете успокоиться, сэръ. У меня никого нет.

– За все эти годы? – спросила мать.

– Не было времени, мамочка. В настоящее время на службе много дел и большинство из моих товарищей по полку люди холостые.

– Но ведь в обществе ты должен был встречать сотни молодых девушек, на балах и т. п.?

– Я настоящий армейский офицер. Я не танцую.

– Не танцуешь? Что же ты тогда делал? Устраивал сердечные дела друзей? – спросил отец.

– О, да, немножко занимался и этим, но, видите, по теперешнему времени военному надо много работать, чтобы держаться на высоте своей профессии, и дни мои были слишком наполнены, чтобы забавляться половину ночи.

– Гм!.. Подозрительно!..

– Никогда не поздно научиться. Нам нужно будет собрать знакомых по случаю твоего возвращения. Может быть, впрочем, ты хочешь поехать прямо в город, милый?

– Нет. Мне ничего не надо. Будем наслаждаться покоем. Я думаю, найдётся, если поискать, что-нибудь для верховой езды?

– Судя по тому, что меня в продолжение шести недель держали на паре старых гнедых, потому что все остальные готовились для мастера Джорджи, вероятно, что-нибудь найдётся, – со смехом сказал отец. – Мне напоминают сотнями способов, что я должен занять теперь второе место.

– Ах, скоты!..

– Отец говорит это только так, милый; но все старались, чтобы возвращение домой было приятно тебе, и, мне кажется, это удалось, не правда ли?

– Вполне! Вполне! Нет места лучше Англии, когда исполнил свой долг.

– Так и следует смотреть на это, сын мой.

Они гуляли по дорожке, пока тени их не удлинились при свете луны; мать вошла в дом и стала играть те песни, которые требовал некогда маленький мальчик; принесли низенькие, толстые серебряные подсвечники, и Джорджи поднялся в две комнаты в западном конце дома; одна из них была в былое время его спальней, а в другой он играл. И кто же пришёл укладывать его на ночь, как не мать? И она села к нему на кровать, и они говорили целый час, как следовало матери и сыну, о будущем нашей империи. Со скрытым лукавством простой женщины она предлагала вопросы и подсказывала ответы, долженствовавшие вызвать какое-либо изменение в лице, лежавшем на подушке, но не было ни дрожания век, ни учащённого дыхания, ни уклонения, ни заминки в ответах. Поэтому она благословила его и поцеловала в уста, которые не всегда бывают собственностью матери; впоследствии она сказала мужу что-то, заставившее его рассмеяться нечестивым и недоверчивым смехом.

На следующее утро вся конюшня была к услугам Джорджи, начиная с самой высокой шестилетки «со ртом словно лайковая перчатка, мастер Джорджи», до лошади, которую беспечно прохаживал младший конюх с любимым хлыстом Джорджи в руках.

– Вот так лошадь! Взгляните-ка, сэр. Таких нет у вас в Индии, маст-майор Джорджи.

Все было так прекрасно, что и высказать нельзя, хотя мать настояла на том, чтобы возить его в ландо (оно пахло кожей,



как в жаркие летние дни его юности) и показывать своим друзьям во всех домах на шесть миль вокруг; а отец увёз его в город и свёл в клуб, где небрежно представил его не менее чем тридцати старым воинам, сыновья которых не были самыми молодыми майорами в армии и не представлены к отличию. После этого наступила очередь Джорджи; и, вспомнив своих друзей, он наполнил дом офицерами того сорта, что живут в дешёвых помещениях в Соутси или Монпелье на севере, в Бромптоне – хорошими людьми, но незажиточными. Мать заметила, что им нужны молодые девушки, с которыми они могли бы играть в теннис; а так как недостатка в них не было, то дом жужжал, словно голубятня весной. Они перевернули все вверх дном, приготавливаясь к спектаклю; они исчезали в садах, когда должны были являться на репетицию; они пользовались всякой пригодной лошадью, всяким годным экипажем, они падали в пруд с форелями. Гости устраивали пикники, играли в теннис; они сидели парочками за калитками в сумерки: и Джорджи увидел, что они вообще не нуждаются в том, чтобы он занимал их.

– Ну, – сказал он, когда в последний раз увидел их. – Они сказали, что очень веселились, но не сделали и половины того, что собирались сделать.

– Я знаю, что они веселились страшно, – сказала мать. – Ты – душа общества, милый.

– Теперь мы можем зажить спокойно, не правда ли?

– О, да, совершенно спокойно. У меня есть большой друг,

с которым я хочу познакомить тебя. Она не могла приехать, когда у нас было так много народа, потому что она слаба здоровьем и её не было здесь, когда ты только что приехал. Это – миссис Ласи.

– Ласи! Я не помню этой фамилии.

– Они приехали после твоего отъезда в Индию из Оксфорда. Её муж умер там, и она, кажется, лишилась сознания. Они купили «Сосны» на Гассетской дороге. Она очень милая женщина, и мы очень любим их.

– Ведь она вдова, говорили вы?

– У неё есть дочь. Разве я не сказала, милый?

– Что же, и она падает в пруды с форелями, и хихикает, и «О, майор Коттар!» – и все тому подобное?

– Нет, право. Она очень спокойная молодая девушка и очень музыкальная. Она всегда приезжала сюда с нотами. Знаешь, она композиторша: и обыкновенно занимается целый день, так, что ты...

– Говорите о Мириам? – сказал, подходя, отец.

Мать подвинулась к нему настолько, что могла коснуться его локтем. В отце Джорджи не было хитрости.

– О, Мириам милая девушка. Играет прекрасно. Ездит верхом тоже прекрасно. Она общая любимица в доме. Называла меня...

Локоть попал куда следовало, и отец, ничего не понимавший, но всегда послушный, закрыл рот.

– Как она вас называла, сэр?

– Всякими ласковыми именами. Я очень люблю Мириам.

– Звучит по-еврейски – Мириам.

– Еврейка!.. Скоро ты себя самого станешь называть евреем. Она из херфордшайрских Ласи. Когда умрёт её тётка...

Снова локоть.

– О, ты совсем не будешь видеть её, Джорджи. Она целый день занимается музыкой, всегда бывает с матерью. Кроме того, ты ведь завтра едешь в город. Ведь ты говорил мне о каком-то митинге, не правда ли? – сказала мать.

– Ехать в город теперь? Что за чепуха!

Отца снова заставили умолкнуть.

– Я думал было, но не знаю наверное, – сказал сын.

Почему мать старается удалить его из дома, когда должна приехать музыкальная молодая девушка и её больная мать? Он не одобрял того, что какие-то неизвестные особы женского пола называют его отца ласковыми именами. Он хотел повидать этих дерзких особ, которые только семь лет тому назад поселились здесь.

Все это восхищённая мать прочла на его лице, продолжая сохранять вид милой незаинтересованности.

– Они приедут сегодня вечером, к обеду. Я посылаю за ними экипаж, и они останутся не более недели.

– Может быть, я и поеду в город. Я ещё не знаю. – Джорджи нерешительно отошёл в сторону. В военной академии была назначена лекция «О способе доставления амуниции на поле сражения», и читать должен был единственный че-

ловек, теории которого более всего раздражали майора Коттара. Должны были последовать горячие прения, и, может быть, ему пришлось бы говорить. После полудня он взял удочку и пошёл закинуть её в пруд с форелями.

– Успешной ловли! – сказала ему с террасы мать.

– Боюсь, что этого не будет, мамочка. Все эти горожане, в особенности барышни, напугали форелей так, что они на целые недели перестали есть. Никто из них не любит по-настоящему рыбной ловли. Представить себе только весь этот шум и крик на берегу; они рассказывают рыбам на полмили, что именно собираются делать, а потом бросают скверную приманку. Клянусь Юпитером, и я бы испугался, будь я форелью.

Но дело вышло не так плохо, как он ожидал. Над водой толклись чёрные мошки; поверхность воды была вполне спокойна. Форель в три четверти фунта, которую он поймал со второго раза, подзадорила его, и он принялся серьёзно за дело, прячась за камыши и кусты, пробираясь между изгородью из таволги полосой берега шириной в один фут, где он мог видеть форелей, а они не могли отличить его от общего фона; ложась на живот, чтобы забросить удочку в то место, где сверкали серо-голубоватые спинки рыб. Каждый дюйм водного пространства был известен ему с тех пор, как он был ростом в четыре фута. Старые и хитрые рыбы между затонувшими корнями, а также и большие, толстые, лежавшие в пенистой накипи сильного течения, в свою очередь, попа-

дали в беду от руки, которая так искусно подражала дрожанию и ряби, производимой насекомыми, движущимися в воде. Вследствие всего этого Джорджи очутился в пяти милях от дома в то время, когда ему следовало бы одеваться к обеду. Экономка позаботилась, чтобы её мальчик не ушёл с пустым желудком, и, прежде чем превратиться в белую ночную бабочку, он сел за превосходный кларет с сэндвичами с яйцами и разными вещами, которые приготавливают обожающие женщины и которых никогда не замечают мужчины. Он пошёл назад, спугнув кроликов на опушке букового леса, фуражировавших в клевере, и похожего на полисмена белого филина, снисходившего до маленьких полевых мышей. Наконец, месяц поднялся высоко, и он, взяв удочку, пробрался домой через хорошо памятные щели в изгородях. Он обошёл весь дом кругом, потому что хотя, может быть, он и нарушал каждый час все законы домашнего обихода, но один закон, царствовавший во время его юности, остался нерушимым: после рыбной ловли нужно было возвращаться домой через калитку в южной части сада, почиститься в комнатке около кухни и явиться перед старшими только после того, как вымоешься и переоденешься.

– Половина одиннадцатого, клянусь Юпитером! Ну, скажу, что увлёкся спортом. Во всяком случае, не пожелают же они непременно видеть меня в первый же вечер. Вероятно, ушли спать.

Он прошёл мимо открытых французских окон гостиной.

– Нет, не ушли. По-видимому, все устроились тут очень комфортабельно.

Он увидел своего отца сидящим в своём обычном кресле; мать также сидела на своём месте; у рояля, спиной к окну, сидела незнакомая ему молодая девушка. Сад при лунном свете имел почти божественный вид, и Джорджи повернулся и пошёл между розами, чтобы докурить трубку.

Окончилась прелюдия, и раздался голос, из тех, что в детстве он называл «сливочными» – настоящее, глубокое контральто, и вот что он услышал:

Там, за пурпуровым краем, внизу,  
Где светит огонь одинокий,  
Ты знаешь ли путь в ту страну  
Через Озеро Грёз, путь далёкий?  
В Стране Благодатной забудет  
Страданья несчастный больной.  
Но мы, – горе нам! – нас разбудят,  
Мы край тот покинем родной:  
Полисмен наш День нас прогонит  
Далеко от Города Снов.

Там, за пурпуровым краем, внизу,  
Когда ещё грёзы неясны,  
Взгляни, о взгляни в ту Страну,  
Не впустят туда нас, несчастный!  
Изгнанников, стража вернёт  
Нас в Явь из Страны Благодатной.

О, горе нам, горе! Придёт  
За нами страж – День безотрадный,  
Прогонит из Города Снов.

Когда эхо прозвучало в последний раз, он почувствовал, что во рту у него пересохло и что пульс его бьётся непривычно сильно. Экономка, вообразившая, что он упал в пруд и простудился, ожидала его на лестнице, и, так как он не видел её и ничего не ответил ей, она пустила в ход рассказ, который заставил его мать прийти и постучаться в дверь его комнаты.

– Что-нибудь случилось, милый? Гарпер сказала, что ей показалось, будто ты не...

– Нет, ничего. Я совсем здоров, мамочка. Пожалуйста, не приставайте.

Он сам не узнал своего голоса, но это был пустяк в сравнении с тем, что он обдумывал. Очевидно, вполне очевидно, это совпадение было полным безумием. Он доказал это к удовольствию майора Джорджа Коттара, который должен был отправиться на следующий день в город, чтобы послушать лекцию «О способах доставления амуниции во время похода», а когда доказал, то душа и ум, сердце и плоть Джорджи радостно воскликнули: это девушка из «Ущелья Лилии», девушка утреннего континента, девушка «тридцатимильной прогулки», девушка кучи валежника! Я знаю её.

Он проснулся в кресле, окоченевший; при солнечном свете положение не показалось ему нормальным. Но человеку

нужно есть, и он сошёл к завтраку, стиснув зубы и взяв себя в руки.

– По обыкновению, опоздал, – сказала мать. – Мой мальчик, Мириам.

Высокая девушка в чёрном подняла глаза, и вся выдержка Джорджи покинула его – как только он понял, что она ничего не знает. Он смотрел на неё хладнокровно и критически. Вот густые, чёрные волосы, откинутае со лба, характерно выющиеся над правым ухом; вот серые глаза, стоящие довольно близко друг к другу; короткая верхняя губа, решительный подбородок и знакомая постановка головы. Вот и маленький, хорошо очерченный рот, который когда-то поцеловал его.

– Джорджи, милый! – с изумлением проговорила мать, потому что Мириам вспыхнула под его пристальным взглядом.

– Я... я прошу извинения! – задыхаясь, проговорил он. – Не знаю, говорила ли вам мать, что по временам я бываю идиотом, в особенности до завтрака. Это... это семейный недостаток.

Он повернулся и стал рассматривать горячие блюда, стоящие на буфете, радуясь, что она не знает, ничего не знает.

Его разговор во время завтрака походил на речь тихопомешанного; но матери казалось, что она никогда не видала своего сына таким красивым. Как может какая-либо девушка, в особенности Мириам с её пронизательностью, не пасть ниц и не поклоняться? Но Мириам была очень недовольна. Никогда в жизни никто не смотрел на неё таким упор-



ным взглядом, и она сейчас же ушла в свою скорлупу, когда Джорджи объявил, что он изменил своё намерение насчёт поездки в город и останется играть в теннис с мисс Ласи, если она не имеет в виду чего-либо лучшего.

– О, я не желаю мешать вам. Я занята. У меня есть дело на все утро.

«Что это случилось с Джорджи? Отчего он вёл себя так странно? – вздыхая, проговорила про себя мать. – Мириам так чувствительна».

– Вы композиторствуете, не правда ли? Должно быть, это очень приятно, когда к этому есть способности. («Свинья, о, свинья!» – думала Мириам.) Я слышал, как вы пели, когда я возвращался вчера вечером после рыбной ловли. Что-то насчёт «Моря грёз», не так ли? (Мириам содрогнулась до глубины своей оскорблённой души.) Прелестная песня. Что вы думаете о таких вещах?

– Ведь вы только сочинили музыку, милая?

– И слова, мамочка. Я уверен в этом! – сказал Джорджи со сверкающими глазами. (Нет, она ничего не знала.)

– Да, я написала и слова.

Мириам говорила медленно; она знала, что шепелявит, когда нервничает.

– Но как ты мог это узнать, Джорджи? – сказала мать в восторге, словно самый молодой майор в армии был десятилетний мальчик, отличающийся перед гостями.

– Я как-то был уверен в этом. О, мамочка, во мне есть

много непонятного для вас. Похоже, что будет жаркий день – для Англии. Не желаете ли поехать верхом после полудня, мисс Ласи? Если хотите, мы можем выехать после чая.

Мириам не могла отказаться, ради приличия, но любая женщина могла бы заметить, что это предложение не вызвало в ней восторга.

– Будет очень хорошо, если вы поедете по Бассетской дороге. Тогда я могу не посылать Мартина в село, – сказала мать, заполняя паузу в разговоре.

Как у всякой хорошей хозяйки, у матери была одна слабость – мания к маленьким стратегическим хитростям, при помощи которых можно было бы побереечь лошадей и экипажи. Родственники-мужчины жаловались, что она обращает их в обыкновенных извозчиков, и в семье существовала легенда, будто она раз, накануне охоты, сказала отцу:

– Если будете убивать дичь вблизи Бассета, милый, и если не будет слишком поздно, не заедете ли вы в село и не купите ли мне вот по этому образчику?

– Я знал, что так будет. Вы никогда не пропустите удобного случая, матушка. Если это рыба или чемодан, я не возьму.

Джорджи рассмеялся.

– Это только утка. Их очень хорошо готовят у Маллета, – просто сказала мать. – Ведь это ничего, не правда ли? У нас будет обед в девять часов, потому что так жарко.

Длинный летний день тянулся, словно целый век; но, наконец, на лужайке подали чай и появилась Мириам.

Она очутилась в седле прежде, чем он успел предложить ей помощь, вскочив легко, как ребёнок, садившийся на пони, чтобы отправиться на прогулку в тридцать миль. День продолжал быть безжалостным по-прежнему. Джорджи три раза сходил с лошади, чтобы взглянуть на камни, будто бы попавшие в ногу Руфуса. При ярком свете нельзя сказать даже простых вещей, а то, что надумал сказать Джорджи, было не просто. Поэтому он говорил мало, и Мириам испытывала чувство не то облегчения, не то презрения. Ей было досадно, что это большое, несносное существо знает, что слова вчерашней песни написаны ею; хотя девушка может распевать вслух о своих самых затаённых фантазиях, она не любит, чтобы их попирали филистимляне-мужчины. Они приехали на маленькую Бассетскую улицу с домами из красных кирпичей, и Джорджи необыкновенно хлопотал при укладке утки. Она должна быть положена в такой-то свёрток и так-то привязана к седлу; было уже восемь часов, а они были за несколько миль от обеда.

– Нам нужно торопиться! – сказала Мириам, соскучившаяся и рассерженная.

– Торопиться некуда; но мы можем проехать по холму Даухед и потом пустить лошадей по траве. Таким образом мы выиграем полчаса.

Лошади вышли на короткую душистую мураву, и тени сгустились в долине, когда они поехали рысью по большому пригорку, который господствует над Бассетом и запад-

ной проезжей дорогой. Незаметно езда стала более быстрой, несмотря на попадавшиеся кротовины. Руфус, как джентльмен, был внимателен к Денди Мириам, пока они не поднялись на вершину. Потом они две мили скакали рядом по склону; ветер свистел у них в ушах, сливаясь с ровными ударами восьми копыт и лёгким звяканьем мундштуков.

– О, это было чудесно! – крикнула Мириам, натягивая повод. – Мы с Денди старые друзья, но, я думаю, мы никогда не ездили так хорошо.

– Нет; но раза два вы ездили быстрее.

– В самом деле? Когда?

Джорджи провёл языком по губам.

– Разве вы не помните «тридцатимильной прогулки», со мной, когда «они» гнались за нами, на прибрежной дороге, море было слева – по дороге, идущей к фонарному столбу на дюнах.

Молодая девушка задохнулась.

– Что... что вы хотите сказать? – нервно проговорила она.

– «Тридцатимильная прогулка» и... и все остальное.

– Вы хотите сказать?.. Я ничего не пела о «тридцатимильной прогулке». Я знаю, что не пела. Я не говорила ни одной живой душе.

– Вы говорили о полисмене Дне, и о фонаре на вершине холмов, и о Городе Сна. Все это сходится, знаете... это та же страна... и легко было узнать, где вы были.

– Боже милосердный!.. Сходится... конечно, сходится;

но... я была... вы были... О, поедemте, пожалуйста, шагом, иначе я упаду.

Джорджи подъехал к ней и, положив дрожавшую руку под её руку, которая держала повод, заставил Денди идти шагом. Мириам рыдала так, как, он видел, рыдал один тяжело раненный солдат.

– Все идёт хорошо... все идёт хорошо, – тихо проговорил он. – Только... только, знаете, все это верно.

– Верно? Неужели я сумасшедшая?

– Только в том случае, если и я сумасшедший. Попробуйте поразмыслить спокойно минутку. Как мог кто-нибудь знать о «тридцатимильной прогулке» и о том, что она имеет отношение к вам, если бы он сам не был там?

– Но где? Но где? Скажите мне!..

– Там... где бы то ни было... я полагаю, в нашей стране. Помните ли вы, как ехали в первый раз – я хочу сказать, по «тридцатимильной дороге»? Вы должны помнить.

– Все это были сны... сны.

– Да; но скажите, пожалуйста, почему же я это знаю?

– Дайте подумать. Я... мы... не должны были производить шума... ни в каком случае не шуметь.

Она смотрела вперёд, между ушей Денди, ничего не видевшими глазами, сердце её сжалось.

– Потому что «оно» умирало в большом доме? – продолжал Джорджи, снова натягивая повод.

– Там был сад с зеленой и позолоченной решёткой – такой

горячей. Вы помните это?

– Как не помнить! Я сидел по другую сторону кровати, пока «оно» не закашляло и не вошли «они».

– Вы! – низкий голос стал неестественно полным и сильным, а широко раскрытые во тьме глаза девушки пристально смотрели на него, как будто желая проникнуть в самую глубь его души. – Так вы этот мальчик – мой мальчик у валежника. И я знала вас всю свою жизнь!..

Она упала головой на шею Денди. Джорджи преодолел овладевшую им слабость и обвил рукой её талию! Голова её упала ему на плечо, и пересохшими губами он стал говорить такие вещи, которые до тех пор считал существующими только в напечатанных романах. К счастью, лошади были спокойны. Она не пробовала отодвинуться, когда пришла в себя, но лежала тихо и шептала:

– Конечно, вы тот мальчик, а я не знала... я не знала.

– Я знал уже вчера вечером; а когда увидел вас за завтраком...

– Так вот почему! Тогда я удивилась. Удивились бы и вы.

– Я не мог говорить раньше. Оставьте вашу голову там, где она теперь, милая. Теперь все хорошо, все хорошо, не так ли?

– Но как это я не знала... после стольких лет? Я помню... о, как многое я помню!

– Расскажите мне что-нибудь. Я присмотрю за лошадьми.

– Я помню, как ждала вас, когда подошёл пароход. Вы

помните?

– У «Ущелья Лилии», за Гонг-Конгом и Явой?

– И вы называете так это место?

– Вы сказали мне это название, когда я затерялся на континенте. Ведь вы показали мне дорогу через горы?

– Когда исчезли острова? Должно быть так, потому что я помню только вас. Все другие были «Они».

– И ужасные это были скотины.

– Да; я помню, как я в первый раз показала вам «тридцатимильную прогулку». Вы ездите совершенно так, как тогда.

Вы – вы.

– Это странно. То же самое я думал сегодня о вас. Разве это не удивительно?

– Что значит все это? Почему вы и я из всех миллионов людей на свете... почему между нами эта странная связь? Что это значит? Я боюсь.

– Вот что! – сказал Джорджи. Лошади ускорили шаг. Они подумали, что слышали понукание. – Может быть, когда мы умрём, мы узнаем больше, но теперь вот что это значит.

Ответа не было. Что могла она сказать?

По сути дела, они знали друг друга не более восьми с половиною часов, но это было не обычное знакомство. Наступило очень долгое молчание.

– Это второй, – шепнул Джорджи. – Вы помните, не правда ли?

– Нет! – (яростно). – Нет!

– На холмах, в другой вечер – несколько месяцев тому назад. Вы были совершенно такая же, как теперь, и мы шли много миль по той стране.

– Она была пустынна. «Они» ушли. Никто не пугал нас. Я удивляюсь почему, мальчик?

– О, если вы помните это, то должны помнить и остальное. Сознайтесь.

– Я помню многое, но знаю, что этого не делала. Я никогда не делала... до сих пор.

– Вы сделали это, милая.

– Я знаю, что не делала, потому что – бесполезно утаивать – потому что, действительно, намеревалась сделать это.

– И действительно сделали.

– Нет; только намеревалась; но кто-то прошёл мимо.

– Там не было никого другого. И никогда не было.

– Было – всегда есть. Это была другая женщина – там, на море. Я видела её. Это было двадцать шестого мая. У меня где-то записано.

– А, и вы также записывали свои сны? Странно что-то насчёт другой женщины, потому что я в это время как раз был на море.

– Я была права. Почём я знаю, что вы делали, когда бодрствовали. А я думала, что вы не такой, как все.

– Никогда в жизни вы не заблуждались более. Однако какой у вас характер! Выслушайте меня, милая. – И Джорджи, сам не зная зачем, совершил чёрное клятвопреступление.



– Это... это не из тех вещей, о которых говорят, потому что тогда стали бы смеяться; но, клянусь моим словом и честью, дорогая, меня не целовала ни одна живая душа, кроме родных. Не смейтесь, милая. Я не сказал бы этого никому другому, но это суцкая правда.

– Я знала! Вы – вы. О, я знала, что вы появитесь когда-нибудь; но я совершенно не знала, что вы – вы, пока вы не сказали. А вы никогда не интересовались никем, ни на кого не смотрели? Ведь все в мире должны любить вас с той минуты, как увидят вас, мальчик.

– В таком случае они утаили это. Нет; я никогда не интересовался никем.

– А мы опоздаем к обеду – страшно опоздаем. О, как я взгляну на вас при свете, перед вашей матерью и моей?

– Мы будем изображать, что вы мисс Ласи, пока не придёт время. Какой самый короткий срок для жениховства? Что, если бы мы избегли всех хлопот, связанных с помолвкой?

– Я не хочу говорить об этом. Это так вульгарно. Я подумала о том, чего вы не знаете. Я уверена в этом. Как моё имя?

– Мири... нет, не то, клянусь Юпитером! Подождите секунду, я вспомню. Вы не... не можете быть... Те старые рассказы – прежде чем я поступил в школу! Я не вспоминал их с тех пор. Вы не оригинал Аннилуизы?

– Так вы всегда называли меня с самого начала. Вот мы повернули и, должно быть, опоздали на целый час.

– Не все ли равно? Корни уходят так глубоко? Конечно

– Наверно, так. Мне пришлось-таки ехать с этой противной старой птицей – черт её побери!

– Ха, ха! – смеясь, сказала утка. Помните вы это?

– Да, помню – цветочные горшки на ногах и все остальное. Все время мы были вместе; а теперь я должен проститься с вами до обеда. Наверно, я увижу вас за обедом? Наверно, вы не спрячетесь в свою комнату, дорогая, и не покинете меня на целый вечер? Прощайте, дорогая, прощайте!

– Прощайте, мальчик, прощайте. Обратите внимание на арку. Не давайте Руфусу броситься в своё стойло. Да, я сойду к обеду, но что я буду делать, когда увижу вас при свете!..

## В силу сходства

После счастливой любви нет более выгодного приобретения для юноши в начале его карьеры, чем несчастная любовь. Она позволяет ему чувствовать себя значительным, blase и скептическим; и каждый раз, когда здоровье его прихрамывает от недоразумений с печенью или недостатка гимнастики, он может печалиться об утраченной красавице и испытывать нежнейшее сумеречное блаженство.

Несчастный роман Ганнасайда был для него подлинной благодатью свыше. С тех пор прошло уже четыре года, и его возлюбленная давно забыла думать о нем. Она вышла замуж, и её поглотили домашние заботы. В своё время она сказала Ганнасайду, что «не будучи в состоянии сделаться для него чем-либо ближе сестры, она тем не менее всегда будет относиться к его благополучию с живейшим интересом». Это поразительно новое и оригинальное изречение давало пищу мечтам Ганнасайда в течение двух лет; а собственное его самомнение заполнило остальных двадцать четыре месяца. Ганнасайд был совсем иного пошиба, чем Фил Гарран, но это не мешало ему иметь много общих черт с этим чересчур счастливым человеком.

Он держал при себе несчастную любовь, как люди держат хорошо обкуренную трубку, – удобства ради и потому что привычка сделала её драгоценной. Любовь эта благополучно

оберегла его в течение одного сезона в Симле. Ганнасайд не был привлекателен. В его резком обращении и бесцеремонности, с которой он подсаживал даму в седло, было нечто, отдалявшее от него прекрасный пол, даже если бы он добивался их благосклонности, о чем и помину не было. Он слишком тщательно сберегал своё израненное сердце для самого себя.

Но тут гряслась беда. Всякий, кто жывал в Симле, знает спуск, ведущий от телеграфа к Конторе общественных работ. В одно сентябрьское утро, в промежуток между посвящёнными визитам часами, Ганнасайд не спеша поднимался по холму, как вдруг навстречу ему полным ходом прикатила дженерикша, в которой сидел некто – живое воплощение образа девушки, подарившей ему столько скорбного блаженства. Ганнасайд прислонился, задыхаясь, к забору. Ему хотелось бы помчаться вниз, следом за дженерикшей, но это было невозможно, и он продолжал подниматься, чувствуя, что большая часть крови прилила к его вискам. По многим причинам женщина в дженерикше не могла быть той девушкой, которую он знал. Как он разузнал позднее, это была жена какого-то господина из Диндигуля, или Коимбатора, или какого иного захолустья, приехавшая в Симлу в начале сезона для поправки здоровья. По окончании сезона она возвратится в Диндигуль, или как его там ещё, и, по всей вероятности, никогда больше не заглянет в Симлу, так как обычный её горный курорт – Утакамунд. В эту ночь Ганнасайд, злобный и трепещущий от растревоженных воспоминаний,

предавался размышлениям в течение доброго часа. Он пришёл к нижеследующему заключению (и вы сами должны решить, насколько здесь играла роль искренняя привязанность к прежней возлюбленной, а насколько – естественное желание бывать среди людей и веселиться). По всей вероятности, м-с Ландис-Гаггерт никогда более не станет ему на пути. Поэтому, чтобы он ни сделал, это вовсе не важно. Она сверхъестественно похожа на девушку, «относившуюся с живейшим интересом», и так далее. Взвесив все обстоятельства, будет очень приятно познакомиться с м-с Ландис-Гаггерт и на время – лишь самое короткое время – вообразить, что он снова находится с Алисой Чизэн. Каждый человек на чем-нибудь да помешан. Специальной мономанией Ганнасайда была его прежняя возлюбленная, Алиса Чизэн.

Он принял меры, чтобы быть представленным м-с Гаггерт, и знакомство прошло как нельзя успешнее. Он также принял меры, чтобы видаться с этой дамой по возможности чаще. Когда человек не шутя добивается встречи с кем-либо, Симла до невероятия изобилует всяческими возможностями. Тут и садовые праздники, и теннис, и пикники, и завтраки в Аннандэм, и состязания в стрельбе, и обеды, и балы; не говоря уже о частных предприятиях, как-то: прогулки и верховая езда. Ганнасайд начал с того, что пожелал усладить себя лицезрением сходства, и кончил тем, что сделал гораздо больше. Он желал быть обманутым, решил быть обманутым и обманул себя весьма основательно. Мало того,

что лицо и фигура были лицом и фигурой Алисы Чизэн, но то же сходство наблюдалось и в голосе и в оборотах речи; даже маленькие ужимки в манерах и жестах, свойственные каждой женщине, и те были совершенно одинаковы. Тот же наклон головы, тот же утомлённый взгляд по окончании долгой прогулки; тот же наклон над седлом для обуздания горячей лошади. Наконец, что изумительнее всего, раз как-то, когда Ганнасайд дожидался в соседней комнате, чтобы поехать вместе кататься верхом, м-с Ландис-Гаггерт промурлыкала вполголоса, с горловым дрожанием на второй строчке «Бедного Скитальца» – точь-в-точь, как пела его некогда для Ганнасайда Алиса Чизэн в полумраке английской гостиной. В самой женщине – в душе её – не усматривалось ни малейшего сходства, ибо она и Алиса Чизэн были женщинами совершенно разного толка. Но Ганнасайд ничего не хотел видеть, слышать, ни о чем ином думать, как только об этой мучительной, сводящей с ума тождественности лица, и голоса, и манер. Он поставил себе целью разыграть дурака: и это удалось ему вполне.

Открытое и явное поклонение всякого мужчины, каков бы он ни был, приятно всякой женщине, какова бы она ни была; но м-с Ландис-Гаггерт, как светская женщина, никак не могла взять в толк поклонения Ганнасайда.

Эгоист по природе, он не жалел никакого труда, чтобы предупредить малейшее её желание. Любое её слово являлось для него законом; и не подлежит сомнению, что он на-

ходил подлинное удовольствие в её обществе, пока она разговаривала с ним на общие темы. Но стоило ей перейти на личные взгляды и личные свои неприятности, те мелкие общественные недоразумения, в которых заключается вся соль существования в Симле, чтобы интереса и удовольствия как не бывало. Ганнасайд нисколько не интересовался прошлым м-с Ландис-Гаггерт и её впечатлениями – она объехала почти весь мир и умела хорошо рассказывать, – он желал видеть лицо Алисы Чизэн и слышать её голос. Все постороннее, все то, что напоминало о чужой индивидуальности, раздражало его, и он не скрывал этого.

Как-то раз вечером, у Новой Почты, м-с Ландис-Гаггерт внезапно обернулась к нему и высказалась кратко и без обиняков. «М-р Ганнасайд, – сказала она, – не будете ли вы добры объяснить, почему избрали роль моего специального *cavalier servente*? Мне это непонятно. Но так или иначе я, безусловно, убеждена, что у вас нет ни капельки какого бы то ни было чувства ко мне». Здесь, кстати, подтверждается теория, согласно которой всякий мужчина, солгавший женщине словом или делом, всегда бывает в конце концов выведен на чистую воду. Ганнасайд попался врасплох. Он никогда не был вооружён для защиты, так как думал исключительно только о самом себе, и не успел он спохватиться, как у него вырвалось непроизвольно: «Да его и нет».

Своеобразность положения и ответ Ганнасайда рассмешили м-с Ландис-Гаггерт. Тут все всплыло наружу, и, по

окончании объяснения Ганнасайда, м-с Гаггерт заметила с едва уловимым оттенком пренебрежения: «Итак, я призвана служить манекеном, на который вы вешаете лохмотья своих былых привязанностей?»

Ганнасайд не знал, что от него требуется, и принялся туманно и невразумительно воздавать хвалу Алисе Чизэн, что было вовсе не то. М-с Гаггерт ни чуточки не интересовалась Ганнасайдом. Только... только ни одной женщине не нравится, когда поклоняются не ей, а сквозь неё; в особенности, когда дело идёт о заплесневелой богине четырехлетней давности.

Ганнасайд не понял, что сделал из себя посмешище. Он просто был очень рад, что ему удалось встретить сочувственную душу в бесплодных пустынях Симлы.

Когда сезон кончился, Ганнасайд водворился на своём местожительстве, а м-с Гаггерт на своём. «Ведь это как если бы я ухаживал за привидением, – говорил себе Ганнасайд, – это не имеет никакого значения; а теперь я по-настоящему возьмусь за работу». Но не тут-то было; он против воли все думал о привидении Гаггерт-Чизэн; и все никак не мог решить, кто из двух, Гаггерт или Чизэн, составляет главную часть милого призрака.

Он понял, в чем дело, месяц спустя.

Одна из странностей этой странной страны заключается в привычке бессердечного правительства переводить людей из



одного конца империи в другой. Вы никогда не можете быть уверены, что отделались от друга или недруга, пока он или она не умрёт. Был один случай, когда... но это уже совсем другой рассказ.

Ведомство Гаггерта перевело его из Диндигуля на границу в каких-нибудь два дня. Он и отправился через страну, тратя деньги на каждом шагу, от Диндигуля вплоть до места назначения. По пути он оставил м-с Гаггерт в Люкнове. Она должна была погостить здесь у знакомых, побывав на большом балу в Чуттер-Мунзиле, и отправиться к нему, когда он сколько-нибудь устроит её новое жилище. Люкнов был местом службы Ганнасайда, и м-с Гаггерт провела здесь неделю. Ганнасайд встретил её. В то время как подходил поезд, он вдруг заметил, что думал о ней в течение всего прошлого месяца. Одновременно он уразумел безрассудство своего поведения. Неделя в Люкнове, с двумя балами и неограниченным количеством совместных прогулок верхом, завершила дело; и Ганнасайд, в один прекрасный день, поймал себя на мысли, что он обожает Алису Чизэн, по крайней мере, обожал её. И поклоняется м-с Ландис-Гаггерт, потому что она похожа на Алису Чизэн. Но м-с Ландис-Гаггерт ничуть не похожа на Алису Чизэн, будучи в тысячу раз более восхитительной. Между тем Алиса Чизэн «мужняя жена», и такова же и м-с Ландис-Гаггерт, – да вдобавок ещё добрая и верная жена. Следовательно, он, Ганнасайд, не что иное, как... здесь он обозвал себя различными нелестными именами и горько

пожалел о том, что не был благообразен с самого начала.

Знала ли м-с Ландис-Гаггерт о том, что происходило в его душе, или нет, – это известно ей одной. Он выказывал безусловный интерес ко всему, что касалось её, независимо от сходства с Алисой Чизэн, и раза два говорил ей такие вещи, которые едва ли можно было бы извинить даже на основании сходства, будь Алиса Чизэн его невестой. Но м-с Гаггерт отклонила его излияния и потратила много времени, чтобы растолковать Ганнасайду, каким она была для него утешением, благодаря своему странному сходству с его прежней возлюбленной. Ганнасайд кричал и стонал в седле и приговаривал: «Да, да, конечно», и помогал ей собираться в дорогу на границу, чувствуя себя пришибленным и несчастным.

Настал последний день её пребывания в Люкнове, и Ганнасайд проводил её на вокзал. Она была очень признательна за его любезность и хлопоты и улыбалась ласково и сочувственно, как человек, понимающий алисо-чизэнскую причину этой любезности. А Ганнасайд ругал напропалую носильщиков, и расталкивал публику на платформе, и молил Бога, чтобы крыша провалилась и убила его.

Когда поезд медленно пополз прочь, м-с Ландис-Гаггерт высунулась из окна, чтобы проститься с ним. «А впрочем, не прощайте, а до свидания, м-р Ганнасайд. Весной я еду в Англию, быть может, встретимся с вами в Лондоне».

Ганнасайд пожал ей руку и произнёс убеждённо и с обожанием: «Дай Бог, чтобы я никогда больше не видал вашего

лица!»

И м-с Гаггерт поняла его.

## № 007

Локомотив, после морских машин, самый чувствительный аппарат из всех вышедших из рук человека; а № 007, кроме того, был ещё совершенно новый. Красная краска ещё не совсем высохла на его колёсах, фонарь с рефлектором блестел, словно каска пожарного, а будка машиниста могла бы служить изящной гостиной. Его только что пригнали в депо после испытания. Он простился со своим лучшим другом в мастерской – двигателем. Громадный мир открывался перед ним; остальные локомотивы оглядывали его. Он смотрел на полукруг дерзких, немигающих фонарей, слушал пыхтение, бормотанье, презрительное, насмешливое шипенье пара в водомерных кранах – и готов был отдать месячную порцию масла, чтобы пробраться сквозь свои собственные движущиеся колёса в кирпичный зольник внизу. № 007 был восьмиколесный «американский» локомотив, несколько отличавшийся от других локомотивов этого типа; по книгам компании он оценивался в десять тысяч долларов. Но если бы вы купили его, по его собственной оценке, через полчаса ожидания в темноватом депо, где гулко раздавалось эхо, вы сохранили бы ровно девять тысяч девятьсот девяносто девять долларов и девяносто восемь центов.

Тяжёлый товарный поезд «Могул», с коротким каукэче-

ром<sup>11</sup> и с топкой на расстоянии трех дюймов от рельсов, первый начал невежливую игру, обратясь к локомотиву системы «Pittsburg Consolidation».

– Откуда принесло этого? – спросил он, сонно выпуская лёгкий пар.

– Я почти ничего не могу рассмотреть, кроме ваших номеров, – послышался ответ. – Предполагаю, что это что-то оставшееся на память от Питера Купера.

007 дрогнул; пар у него подымался, но он удержал язык. Всякий паровоз знает, что это был за локомотив, на котором Питер Купер производил свои опыты в далёких тридцатых годах.

Тут заговорил маленький, заново отделанный служебный локомотив.

– По-моему, что-нибудь неладно на пути, если пенсильванский толкач песка начинает разговаривать о нашем происхождении. Это совсем хороший малютка. Он сделан по чертежу Юстиса так же, как я. А разве этого недостаточно?

007 мог бы увезти служебный локомотив на своём тендере, но он был благодарен и за эти слова утешения.

– Мы не употребляем ручных тележек на пенсильванской, – сказал «Питтсбург». – Эта... гм... горошина достаточно стара и некрасива, чтобы самой говорить за себя.

– С ним ещё не разговаривали. Говорили только про него. Что, в Пенсильвании не обращают, что ли, внимания на хо-

---

<sup>11</sup> Особый прибор для сбрасывания попадающих на пути животных.

рошие манеры? – сказал служебный локомотив.

– Тебе следовало бы быть в парке, «Пони», – строго сказал «Могул». – Мы все здесь паровозы большой тяги.

– Вы так думаете? – сказал маленький локомотив. – Прежде чем настанет утро, узнаете иное. Я был на пути № 17 и груз там – о, Боже мой!

– У меня, в моем отделении было много хлопот, – заметил тощий, лёгкий пригородный локомотив с очень блестящими башмаками тормозов. У нас не успокоились, пока не устроили салон-вагон. Его прицепили сзади, и его тянуть хуже, чем машину для разгребания снега. Наверно, он когда-нибудь оторвётся и тогда будут бранить всех, кроме самих себя, – дураки! В следующий раз они заставят меня везти курьерский поезд.

– Вас изготовили в Нью-Джерсее, не правда ли? – сказал «Пони». – Так я и думал. Невесело таскать товарные поезда и платформы, но должен вам сказать, что они гораздо лучше холодильников или резервуаров с маслом. Я тащил...

– Тащили? Вы-то? – с презрением сказал «Могул». – Вы только и можете, что втащить в парк платформу с припасами. А я, – он остановился, чтобы слова его могли сильнее запечатлеться в сознании слушателей, – я имею дело с грузами большой скорости – одиннадцать вагонов, – тяжелее, чем все, что вам приходилось возить. Я выезжаю, когда бьёт одиннадцать, и должен проходить по тридцать пять миль в час. Все, что ценно, хрупко, непрочное, требует быст-

рой доставки – вот моя работа. Пригородное движение на одну только степень выше передаточного. Товарный экспресс – вот самое главное.

– Ну, я вообще не склонён хвастаться, – сказал «Питтсбург».

– Да? А вас прислали сюда потому, что вы ворчали на подъем, – перебил «Пони».

– Там, где я ворчу, вы легли бы, «Пони», но, как я уже говорил, я не люблю хвастаться. Однако если желаете видеть действительную быстроту доставки груза, вам следует взглянуть на меня, когда я тащу за собой по Аллеганам тридцать семь вагонов с рудой. Тут-то мне приходится показать себя. Хотя я и говорю сам про себя, но я никогда не терял ни одного груза. Да, не терял, сэр. Одно дело уметь тащить за собой вагоны, другое – рассудительность и осторожность. В моем деле нужно уметь рассуждать.

– Ах! Но не парализует ли вас сознание вашей страшной ответственности? – спросил из угла чей-то любопытный, хриплый голос.

– Кто это? – шепнул 007 локомотиву из Джерсея.

– «Компаунд» на испытании. Он ходил служебным в продолжение полугода, когда не был ещё в депо. Он экономен (я лично считаю это подлым) в угле, но навёрстывает на ремонте. Гм! Я полагаю, вы нашли Бостон несколько уединённым после сезона в Нью-Йорке, сударыня? Я чувствую себя всего лучше, когда бываю одна.

Голос «Компаунда» слышался словно из дымовой коробки.

– Верно, – шёпотом сказал непочтительный «Пони». – Здесь никто за нею не ухаживает.

– Но при моем строении и темпераменте – моя работа сосредоточена в Бостоне – я нахожу вашу «outrecuidance». <sup>12</sup>

– Это ещё что такое? – спросил «Могул». – Цилиндр, что ли, какой? Для меня хороши и простые.

– Может быть, следовало сказать «faroucherie», <sup>13</sup> – прошипел «Компаунд».

– Я не желаю иметь дело с машинами, у которых колёса из папье-маше, – настаивал «Могул».

«Компаунд» снисходительно вздохнул и не сказал ничего больше.

– Придают им всевозможные формы, не так ли? – сказал «Пони». – Таковы все Массачузеты. Они трогаются, а затем останавливаются на полпути, как вкопанные, и сваливают всю вину на то, что с ними обращаются не так, как следует. Между прочим, «Команч» рассказывал мне, что у него в пятницу раскалились втулки. Потому-то и потребовался вспомогательный поезд.

– Если бы я слышал это, стоя в мастерских, с вынутым для починки котлом, и то понял бы, что это одно из тех ложных известий, которые обыкновенно сообщает «Команч». Про-

---

<sup>12</sup> Дерзость.

<sup>13</sup> Дикость.



сто ему прицепили лишний вагон; он упал на подъёме и завизжал. Вот что произошло с ним в действительности. Пришлось послать ему на подмогу № 127. Так он и выдумал, что у него загорелись колёса. Перед тем он говорил, что упал в канаву! Смотрел прямо на меня при свете фонаря и рассказывал мне так хладнокровно, словно резервуар с холодной водой. Расспросите-ка № 127 об этом случае с «Команчем». Он сошёл с рельсов, и № 127 (он был как бешеный от того, что его вызвали в десять часов вечера) взял его и примчал в Бостон в семнадцать минут. Все остальное – чистая ложь. Вот что такое «Команч»!

Тут 007 попался, как кур в ошип, спросив, как это раскаляются втулки у колёс.

– Пусть выкрасят мой колокол в небесно-голубой цвет! – сказал «Пони». – Пусть сделают из меня крошечный локомотив с обшивкой из твёрдого дерева вокруг колёс. Пусть меня сломают и наделают из меня пятицентовых механических игрушек! Вот восьмиколесный «американец», не знающий, что такое разогревание втулок! Может быть, вы никогда не слышали и об автоматическом тормозе? Не знаете, зачем возите домкраты? Вы слишком невинны, чтобы оставить вас одного с вашим собственным тендером. Эх вы, глупая платформа!

Прежде чем кто-нибудь мог ответить, раздался рёв вырвавшегося пара, и у 007 чуть было вся краска не пошла пузырями от огорчения.

– Разогревание втулок, – начал «Компаунд», выбирая слова, словно это были горячие уголья, – есть наказание за поспешность, происходящую от неопытности.

– Это то, что случается, если лететь во весь опор, – сказал пригородный «Джерсей». – Много лет этого уже не бывало со мной. Болезни этой вообще не подвержены локомотивы малой тяги.

– У нас на «Пенсильвании» никогда этого не бывает, – сказал «Питтсбург». – Этой болезнью заражаются в Нью-Йорке, как и нервной протрацией.

– Ах, ступайте к себе на паром, – сказал «Могул». – Вы думаете, что если можете подыматься по худшим дорогам, чем те, которые встречаются на нашем пути, так вы и аллеганский ангел. Ну, а я скажу вам, что вы... Вот мои люди. Я не могу оставаться здесь. Может быть, увижу вас позже.

Он величественно двинулся к поворотной платформе и поплыл, словно корабль по каналу, пока не дошёл до своего пути.

– Что же касается вас, зелёный, вертящийся кофейник (к № 007), – ступайте-ка, научитесь чему-нибудь, прежде чем иметь дело с теми, кто проходил в неделю более миль, чем вы проедете в год. Итак, вперёд!

– Пусть лопнут у меня трубы, если это показывает вежливое отношение к новому члену нашего братства, – сказал «Пони». – Ничто не дало повода к такому обращению с вами. Но о манерах забыли при постройке «Могула». Поддер-

живайте свой огонь, юноша, и выпускайте свой собственный пар. Полагаю, что нас сейчас потребуют.

В депо люди вели оживлённый разговор. Один из них, в грязной фуфайке, говорил, что у него нет лишних локомотивов. Другой, с клочком измятой бумаги в руке, говорил, что начальник приказал ему сказать тому человеку, который говорил с ним, что он (этот другой человек) должен замолчать. Тогда другой человек стал размахивать руками и пожелал узнать, не думают ли, что он держит локомотивы в кармане. Потом появился человек в чёрной одежде аббата, только без воротника, весь в поту, так как стоял жаркий августовский день, и сказал, что то, о чем он говорил, двинулось; под руководством этих трех людей пошли и другие локомотивы – сначала «Компаунд», потом «Питтсбург» и, наконец, 007.

В глубине своей топки 007 таил надежду, что, как только испытание будет закончено, его выведут с пением и приветственными восклицаниями под управлением смелого, благородного машиниста, который погладит его по спине, проследит над ним и назовёт его своим арабским конём (мальчики в мастерской, в которой его строили, читали удивительные рассказы из железнодорожной жизни, и 007 ожидал, что все произойдёт по писаному). Но машинист сказал только:

– Что за странный инжектор приделал Юстис к этой штуке! – И потом, сердито переводя рукоять, крикнул: – Неужели я должен ездить на этой машине!

Человек без воротника отёр пот и ответил, что при на-

стоящем состоянии парка, груза и ещё чего-то придётся пока работать на передаточных путях. 007 храбро пустился в путь, вложив всю свою душу в передний фонарь и испытывая такое нервное состояние, что звук его собственного колокола чуть было не заставил его сойти с рельсов. Фонари раскачивались и приплясывали вниз и вверх, впереди и позади него; а со всех сторон по шести путям, то спускавшимся, то подымавшимся с лязгом и визгом, неслись вагоны – такое количество вагонов, которое и не снилось 007. Тут были вагоны с минеральными маслами, сеном; вагоны, полные мычащих животных, вагоны с рудой и с картофелем, с торчащими посередине дымогарными трубами; вагоны-холодильники, откуда ледяная вода стекала на полотно дороги; фруктовые и молочные вагоны с вентиляцией; открытые вагоны с платформами, наполненными материалом для продажи; открытые вагоны, нагруженные сельскохозяйственными машинами, красными, зелёными, сверкавшими, точно позолоченные, при свете электричества; открытые вагоны с высокими кучами сильно пахнущих кож, с грудями свежих досок, издававших приятный смолистый запах; вагоны с булыжником; вагоны, скрипящие под тяжестью медных, железных деталей в тридцать тонн и ящиков с заклёпками для какого-нибудь нового моста; и сотни, сотни вагонов, нагруженных, запертых и помеченных мелом. Люди – разгорячённые и сердитые – пробирались между тысячами колёс к буферу 007, когда он останавливался на мгновение; люди сидели на его

передке, когда он шёл вперёд, и на тендере, когда возвращался; целые полки людей бегали по крышам вагонов, которые он тянул, завинчивали тормоза, размахивали руками и кричали странные вещи.

Его то подвигали вперёд на один фут, то быстро оттачивали назад на четверть мили (причём его задние движущие колёса сильно стучали и трещали); толкали на переводные стрелки (а эти стрелки очень, очень коротки, грубы и неудобны), направляли то к одному, то к другому вагону и, не давая ему ни малейшего понятия о грузе, который он вёз, снова отправляли в путь. Когда он был на полном ходу, от него вдруг отцепляли три-четыре вагона; 007 делал скачок вперёд и сейчас же, икая, удерживался тормозом. Тогда он ждал несколько минут, смотря на быстро мелькавшие фонари, оглушённый шумом колоколов, ослеплённый видом скользящих мимо вагонов, причём ручка его регулятора, задыхаясь, делала сорок оборотов в минуту; оси передних колёс ложились боком на его каукэчер, словно язык усталой собаки, а сам он весь покрывался золой.

– Не так-то легко работать с тендером, имеющим прямую спинку, – сказал его маленький друг по депо, идя рысью мимо него. – Но вы отлично справляетесь. Видели вы начальника депо? Это величайший человек на свете, запомните это. Когда мы окончим работу? Ну, малютка, все время будет так, и днём, и ночью. Видите вон тот поезд, что движется по четвёртому... нет, по пятому пути отсюда? Это смешанный

груз, который надо будет рассортировать по надлежащим поездам. Для этого-то мы и готовили вагоны.

Тут он сильно подтолкнул один из вагонов, шедший на запад, и отскочил назад, сильно фыркнув от удивления, потому что вагон оказался старым другом.

– Черт побери, да ведь это «Бездомная Кэт»! Ну, Кэт, разве вас никак нельзя отправить назад к вашим друзьям? Ведь на вас найдётся сорок охотников на вашей дороге. Кто владеет вами теперь?

– Желала бы сама знать это, – прохныкала Кэт. – Я принадлежу компании в Топеке, но была в Ваннипеге; была и в Ньюпорт-Ньюз; ездила и вдоль всей старой Атлантики, и в Вест-Пойнт; была и у Буффало. Может быть, подымусь и до Хаверстроу. Я только десять месяцев, как выехала из дома, но очень скучаю по нему, сильно скучаю.

– Попробуйте Чикаго, Кэти, – сказал маленький локомотив, когда поношенный старый вагон стал, покачиваясь, медленно спускаться по полотну. – Я хочу быть в Канзасе, когда зацветут подсолнечники.

– Депо наполнены «Бездомными Кэт» и «Бродячими Вилли», – объяснил локомотив 007-му. – Я знал один старый вагон, который ходил безостановочно семнадцать месяцев; а один из наших ходил пятнадцать, пока нам удалось узнать, где он находится. Не знаю, как это устраивают наши люди. Вероятно, меняются. Во всяком случае, своё дело я сделал. Он теперь на пути в Канзас, *via* Чикаго; но я готов поставить

в заклад все содержимое моего котла, что его задержат там столько времени, сколько будет угодно товарополучателю, а осенью пришлют к нам с пшеницей.

Как раз в эту минуту прошёл локомотив «Питтсбург» во главе двенадцати вагонов.

– Я иду домой, – гордо сказал он.

– Не дотащить тебе всех двенадцати.

– Раздели-ка их пополам! – крикнул «Пони».

Но к последним шести приставили 007, и он чуть не лопнул от удивления, когда заметил, что толкает вагоны к громадному парому. Он никогда ещё не видал глубокой воды и задрожал, когда очутился на расстоянии шести дюймов от чёрного, блестящего залива.

После этого его поспешно отправили в багажное отделение, где он увидел начальника депо, невысокого человека в рубашке, штанах и туфлях, смотревшего на море платформ, на толпу кричащих рабочих и на эскадроны пятившихся, поворачивавшихся, покрытых потом лошадей, из-под копыт которых вылетали искры.

– Это корабельный груз, нагружаемый на платформы, – с благоговением сказал маленький локомотив. – Но ему это все равно. Пусть их ругаются. Он – царь, король, хозяин! Он говорит: «пожалуйста», и все становятся на колени и начинают молиться ему. Надо поднять три-четыре груза, пока он сможет обратить внимание на них. Когда он протягивает руку вот так, значит, случится что-нибудь важное.

Ряд нагруженных вагонов скользнул вниз по полотну, и ряд пустых занял их место. Тюки, плетёные корзины, ящики, кувшины, сосуды с жидкостями, бочонки и узлы полетели из кладовой, словно вагоны были магнитом, а они железными опилками.

– Ки-йя! – крикнул маленький «Пони». – Ну разве это не чудесно?

Рабочий с багровым лицом пробрался сквозь толпу к начальнику и стал размахивать кулаком под самым его носом. Тот даже не поднял глаз от груды лежавших перед ним багажных квитанций. Он слегка согнул палец, и молодой человек в красной рубашке, беззаботно стоявший позади него, ударил рабочего в левое ухо так, что тот, дрожа, со стоном упал на тук сена.

– Одиннадцать, семь, девяносто семь, четырнадцать чего-то, три ещё чего-то, девятнадцать, тринадцать; один, один, четыре; семнадцать, должно быть, двадцать один; и десять, отправляемых на запад. Все верно, кроме двух последних. Выпустить пары на станции. Так, хорошо. Дёрнуть эту верёвку.

Говоривший кроткими голубыми глазами смотрел на кричавших рабочих, на воду, залитую лунным светом, и тихонько напевал сквозь губы:

Все светлое, прекрасное.

Что дышит и живёт,



Все мудрое, чудесное,  
Господь все создаёт.

007 вывел вагоны и передал их локомотиву на линии. Никогда в жизни не чувствовал он себя таким слабым.

– Интересно, не правда ли? – сказал «Пони», пыхтя на соседнем пути. – Если бы этот человек попал под наши колёса, то от него осталось бы только красное пятно, а мы и не знали бы, что сделали, – потом, наверху, где пар гудит, так ужасно спокойно...

– Я знаю, – сказал 007. – Я чувствую, как будто потерял свой жар и холодею. Он, действительно, величайший человек на земле...

Они были на далёком северном конце двора, под башней, от которой расходились пути в четыре стороны. Бостонский «Компаунд» должен был тянуть приведённые 007 вагоны до какой-то отдалённой северной станции по неважному полотну и громко сожалел о девяностошестифунтовых рельсах дорог А и Б.

– Вы молоды, вы молоды, – кашляя, говорил он. – Вы не даёте себе отчёта в лежащей на вас ответственности.

– Нет, отдаём, – резко сказал «Пони», – но не изнываем под её тяжестью. – Потом он выпустил пар сбоку, словно выплюнул: – Тащит она груз ценностью не более пятнадцати тысяч долларов, а рассуждает так, как будто он стоит сто тысяч. Извините, сударыня. Вот ваш путь... Ну так и есть, по-

пала не туда, куда следует.

«Компаунд» полз по пути, тянувшемся вдоль длинного откоса, испуская страшные стоны на каждой стрелке и двигаясь, словно корова в метель. В депо наступила короткая пауза после того, как исчезли задние огни поезда; стрелки громко замкнулись, и все, казалось, остановилось в ожидании.

– Теперь я покажу вам кое-что интересное, – сказал «Пони». – Когда «Пурпуровый Император» приходит не вовремя, то, кажется, готова поколебаться сама конституция. Первый удар двенадцати...

«Бум!» – пробили часы на большой башне, и 007 услышал вдали полный, вибрирующий звук: иа-а, иа-а-а. Фонарь с рефлектором заблестел на горизонте, словно звезда, перешёл в ослепительный блеск, а тихая песенка сменилась оглушающей музыкой. Вызывающее восклицание: «Иа-ах, иа-ах!», которым заканчивалась песня, раздалось в полутора милях за депо; но 007 мельком увидел великолепный шестиколесный курьерский локомотив, который вёз раззолоченного «Пурпурового Императора», экспресс миллионеров, шедший на юг, оставляя за собой мили с быстротой, с которой человек состругивает щепки с мягкой доски. Промелькнуло только пятно эмали каштанового цвета, полоса белого электрического света, лившегося из окон вагонов, и сверкнули никелированные перила на задней платформе.

– О-о-о! – сказал 007.

– Семьдесят пять миль в час. Ванны, как я слышал, парикмахерская, библиотека и все остальное. Да, сэр; семьдесят пять в час! Но в депо он будет разговаривать с вами совершенно так же демократично, как я. А я... чтобы черт побрал устройство моих колёс!.. Я слетел бы с рельсов, если бы шёл половинным его ходом. Он хозяин нашего парка. Чистится у нас. Я представлю вас ему как-нибудь на днях. С ним стоит познакомиться. Немногие могут петь такую песню, как он.

007 был слишком взволнован и не ответил. Он не слышал бешеных звонков телефона в башке, не слышал, как кто-то крикнул его машинисту:

– Готов пар?

– Достаточно для того, чтобы уйти за сто миль отсюда! – сказал машинист, который терпеть не мог подъездных путей.

– Ну, так пускайте! Поезд большой скорости опрокинулся в сорока милях отсюда. Пострадавших нет, но оба пути заняты. К счастью, здесь есть запасной поезд и краны для поднятия тяжестей. Рабочие будут здесь через минуту. Поторопитесь.

– Но я с удовольствием сбросил бы с себя весь этот груз, – сказал «Пони», когда 007 с шумом отодвинулся к угрюмому на вид и грязному вагону, наполненному инструментами; за ним шли платформы с разными приспособлениями.

– Всякому своя судьба; но вам посчастливилось, малютка. Старайтесь не шуметь. Ваш колёсный ход удобен для этого пути, а изгибы тут ничтожные. Ах да! «Команч» говорил,

что тут, на участке, есть одно место, где вас может тряхнуть немного. В пятнадцати с половиною милях за подъёмом, у переезда Джэксон. Вы узнаете его по дому фермера, ветряной мельнице и пяти клёнам во дворе. Мельница находится на западе от кленов. А посреди этого участка есть восьмидесятифутовый железный мост без предохранительных перил. Увидимся позже. Желаю счастья.

007 не успел опомниться, как уже летел по полотну в безмолвный, тёмный мир. Тут его одолели ночные страхи. Он вспомнил все, что слышал об обвалах, о гудах камней, смытых дождём, о вырванных ветром деревьях, заблудившемся скоте; припомнил все, что говорил «бостонский компаунд» о лежащей на них ответственности, и ещё многое, кроме того, что выдумывал уже сам. Сильно дрожащим голосом свистнул он в первый раз на переезде (целое событие в жизни локомотива); вид взбесившейся лошади и человека с бледным лицом в кабриолете, менее чем в ярде справа, не способствовал успокоению нервов. Он был уверен, что соскочит с рельсов; чувствовал, как ролики его колёс подымались по рельсам на каждом изгибе; думал, что при первом же подъёме свалится так же, как свалился «Команч». Он спустился к переезду Джэксон, увидел ветряную мельницу к западу от кленов, почувствовал, как прыгали под ним плохо проложенные шпалы, и крупные капли пота проступили по всему его котлу. При каждом сильном толчке он думал, что сломалась ось; а по восьмидесятифутовому мосту он пробрался, слов-

но преследуемая кем-нибудь кошка по верху забора. Потом мокрый лист прилип к стеклу его переднего фонаря и бросал мимолётную тень на полотно; 007 подумал, что это какое-нибудь пляшущее животное; наверно, мягкое, а все мягкое, падающее под локомотив, пугает его так же, как и слона. Но сидевшие сзади люди казались спокойными. Они беззаботно перелезали с парового колпака на тендер; шутили с машинистом, который слышал их шаги среди угля, и напевали.

– А ведь Юстис знал, что делал, когда строил эту игрушку. Она – молодчина. К тому же новая.

– Да, новая!.. Это не краска. Это...

Жгучая боль пронзила заднее правое движущее колесо 007 – острая, нестерпимая боль.

– Вот оно, – сказал он, – это и есть разогревание втулки. Теперь я знаю, что это значит. Я думаю, развалюсь на куски. И в первую же мою поездку!

– Не слишком ли разгорячён котёл? – осмелился сказать кочегар.

– Продержится, сколько нужно. Мы почти на месте. Знаете, молодцы, ступайте-ка лучше в свой вагон, – сказал машинист, положив руку на ручку рычага. – Я видел, как сбрасывало людей...

Рабочие убежали со смехом. Им вовсе не хотелось быть сброшенными на полотно. Машинист чуть не вывихнул себе руки, и 007 почувствовал, что колёса его словно приросли к рельсам.

– Вот оно! – сказал 007, громко вскрикнув, и скользнул, словно на полозьях. Одно мгновение ему показалось, что он соскочил с рельсов.

– Это, должно быть, автоматический тормоз, о котором говорил «Пони», – задыхаясь, проговорил он, как только немного пришёл в себя. – Разогреваньё!.. Автоматический тормоз... И то, и другое больно; но зато теперь я могу поговорить об этом в депо.

Пройдя несколько футов, он остановился, шипя, разгорячённый. Машинист стоял на коленях среди его колёс, но он не называл 007-го своим «арабским конём», не плакал над ним, как это делают машинисты в газетах. Он только ругал 007, вытаскивая целые ярды обуглившегося хлопка из-под осей и выражая надежду поймать в один прекрасный день идиота, который положил их туда. Никто его не слушал, потому что Эванс, машинист «Могула», с лёгким ушибом головы и очень рассерженный, показывал при свете фонаря изувеченный труп чахлой свиньи.

– Даже не свинья приличных размеров, – говорил он. – Просто поросёнок.

– Это самые опасные животные, – сказал один из рабочих. – Попадают под машину и опрокидывают её с полотно, не правда ли?

– Не правда ли? – прогремел Эванс, рыжий валлиец. – Вы говорите так, как будто свиньи каждый Божий день опрокидывают меня. Я вовсе не в дружбе со всеми полуголодными

поросятами нью-йоркского штата. Вовсе нет. Да, это он!.. И взгляните, что он наделал!

Немало работы задал им заблудившийся поросёнок. Груз скорого поезда, по-видимому, разлетелся во все стороны, потому что «Могул» приподнялся на рельсах и отбежал по диагонали на расстояние нескольких сот футов справа налево, увезя с собой те вагоны, которые согласились последовать за ним. Некоторые не сделали этого. Они сломали свои колёса и легли, а задние вагоны скакали через них. В этой игре они вспахали и уничтожили большую часть полотна. Сам «Могул» «въехал в поле и стал там на колени; фантастические зеленые венки обвилились вокруг его рукояток; остов покрылся толстыми комками земли, на которых раскачивались, словно пьяные, колосья; огонь его был потушен грязью (это сделал Эванс, как только пришёл в себя), а сломанный фонарь был наполовину наполнен полусгоревшими мотыльками. Тендер выбросил на него уголья, и он имел неприличный вид буйвола, пытавшегося забрести в склад угля.

Повсюду валялись различные предметы, вылетевшие из сломанных вагонов: пишущие и швейные машины, партия заграничной серебряной упряжи, французские дамские платья и перчатки, солидная медная кровать, ящик с телескопами и микроскопами, два гроба, ящик с чудесными конфетами, молочные продукты в сосудах с золотыми этикетками, масло и яйца, превратившиеся в яичницу, сломанный ящик с дорогими игрушками и несколько сотен других предметов

роскоши. Неизвестно откуда появившиеся бродяги великодушно предложили свои услуги поезвному персоналу. Рабочие у тормоза, вооружённые шкворнями, расхаживали взад и вперёд с одной стороны, а благостный кондуктор и машинист, заложив руки в карманы, ходили с другой. Какой-то длиннородый человек вышел из дома, стоявшего позади поля, и сказал Эвансу, что, если бы этот случай произошёл несколько позже, весь его хлеб сгорел бы, и обвинял Эванса в небрежности. Потом он убежал, так как Эванс бросился на него, громко крича:

– Это сделала его свинья – его свинья сделала это! Пустите, я убью его! Дайте мне убить его!

Тут рабочие рассмеялись; а фермер высунул голову из окна и сказал, что Эванс не джентльмен.

007 держал себя очень скромно. Он никогда не видал крушения, и оно испугало его. Рабочие хотя и смеялись, но работали усердно, и 007 забыл свой ужас, сменившийся изумлением при их обращении с товарным могульским поездом. Они вскопали землю вокруг него лопатами; подвели шпалы к его колёсам и домкраты под его корпус; они обвили его цепями и щекотали ломami. К потерпевшим крушение вагонам прицепили 007 и давали ему задний ход до тех пор, пока вагоны не очищали путь. До рассвета тридцать или сорок человек были заняты укладкой и забиванием шпал, клёпкой рельсов. Когда наступило утро, все вагоны, которые были в состоянии двигаться, ушли с помощью другого локомоти-



ва; путь был очищен для движения, а 007 протащил старого «Могула» по небольшому пространству шпал, дюйм за дюймом до тех пор, пока валики его колёс не стали снова ударять по рельсам и он с шумом стал на своё место. Дух «Могула» был угнетён, и бодрое настроение пропало.

– Это не была даже свинья, – печально повторял он, – а только поросёнок; и именно вам пришлось помогать мне!

– Но как это случилось? – сгорая от любопытства, спросил 007.

– Случилось! Как случилось! Я прямо наехал на него, миная последний изгиб, – думал, что это хорёк. Да, он был такой маленький. Он даже не взвизгнул, как вдруг я почувствовал, что приподымаюсь (он скатился как раз под передок), и я никак не мог попасть на рельсы. Потом я почувствовал, как он, весь в грязи, бросился под мой левый цилиндр и – о, паровые котлы! – я съехал с рельсов. Я чувствовал, как ободья моих колёс стучали по шпалам, а затем я очутился в хлебах; тендер вытряхивал уголь через мой колпак, а старик Эванс лежал неподвижно в крови, передо мной. Трясся ли я? Во мне нет ни одной стойки, ни одного болта, ни одной заклёпки, которые не соскочили бы со своего места.

– Гм! – сказал 007. – Сколько, полагаете, вы весите?

– Без этих комьев грязи во мне сто тысяч фунтов.

– А в поросёнке?

– Восемьдесят. Говорят, будто сто. Стоит он около четырех с половиной долларов. Ну, не ужасно ли? Право, можно

впасть в нервную прострацию... Разве это не потрясающе? Я только что обогнул этот изгиб...

И «Могул» снова повторил весь рассказ, потому что был очень сильно потрясён.

– Ну, я думаю, это обычное явление, – успокаивающе сказал 007... – а... а упасть в поле, я думаю, мягко.

– Будь это шестидесятифутовый мост и свались я в глубокую воду, взорвись я и убей обоих людей, как это сделают другие, я не огорчился бы; но чтобы меня опрокинул поросёнок в хлеба и вы помогли бы мне, а старый пахарь в ночной рубашке ругал меня, как больную клячу!.. О, это ужасно! Не зовите меня «Могулом»! Я швейная машина.

007 с остывшей топкой и сильно увеличившейся опытностью медленно притащил могульский товарный поезд в депо.

– Эй, старик! Целую ночь был в пути? – сказал неугомонный «Пони», только что вернувшийся со службы. – Ну, скажу вам, это видно сразу. Ценное, хрупкое, таков, вы говорили, ваш груз! Отправляйтесь-ка в мастерские, да снимите с себя ваши лавры. Там вас починят.

– Оставьте его в покое, «Пони», – строго сказал 007, которого поставили на поворотную платформу, – или я...

– Не знал, что старина ваш задушевный друг, малютка. В последний раз, что я видел его, он не был очень вежлив с вами.

– Я знаю; но с тех пор я видел крушение, и краска чуть было не сошла с меня. Я никогда – пока у меня хватит пара

– не буду насмехаться над новичками, не знающими дела и старающимися изучить его. Не буду я насмехаться и над старым «Могулом», хотя и нашёл его увенчанным колосьями. Весь переполох произвёл маленький поросёнок – не свинья, а только поросёнок, «Пони», – не более куска антрацита. Я видел его. Я полагаю, всякий может быть опрокинут.

– Значит, уже поняли это? Ну, хорошее начало.

Слова эти произнёс «Пурпуровый Император», который стоял, ожидая чистки, чтобы на завтра отправиться в путь.

– Позвольте мне познакомить вас, джентльмены, – сказал «Пони». – Это наш «Пурпуровый Император», малютка, которым вы восхищались и, могу сказать, которому завидовали сегодня ночью. Это новый брат, уважаемый сэр, перед которым ещё много миль пути, но, как товарищ, я отвечаю за него.

– Счастлив встретиться с вами, – сказал «Пурпуровый Император», окидывая взглядом полное локомотивов депо. – Полагаю, что здесь нас достаточно для того, чтобы составить митинг. Гм! Властью, которою я облечён, как Глава Дороги, объявляю 007 пользующимся всеми правами и признанным Братом Соединённого Братства Локомотивов и, как такового, могущим пользоваться всеми привилегиями мастерской, стрелок, полотна, водохранилища и депо, насколько простирается моя юрисдикция, как имеющего степень главного бегуна; до меня дошли хорошо известные и лестные отзывы о том, что этот брат наш покрыл сорок одну милю в тридцать

девять с половиною минут, спеша на подвиг милосердия, на помощь несчастным. Когда придёт время, я сам сообщу вам нашу песню и наш сигнал, сигнал, по которому вас можно будет различить в самую тёмную ночь. Займите своё место среди локомотивов, новый брат!

\* \* \*

В настоящее время, в самую тёмную ночь, как и говорил «Пурпуровый Император», если стоять на мосту на багажном дворе в 2 ч 30 м пополуночи, и смотреть на расходящиеся в четыре стороны пути в то время, как «Белый Мотылёк», взяв излишек от «Пурпурового Императора», летит к югу со своими семью вагонами цвета «крэм», можно слышать вдали звуки, похожие на низкие ноты виолончели:

Стучи, скрипи, визжи – Иа-ах, Иа-ах, Иа-ах,  
Ein, zwei, drei, Mutter – Иа-ах, Иа-ах, Иа-ах  
Все выше катится,  
И весь народ сумятится.  
Стучит, скрипит, визжит – Иа-ах, Иа-ах, Иа-ах.

Это 007 покрывает свои сто пятьдесят шесть миль в двести двадцать одну минуту, выстукивая свою песню-сигнал, сообщённый ему «Пурпуровым Императором».

# Бруггльсмит

Старший офицер с «Бреслау» пригласил меня пообедать на корабль, прежде чем он пойдёт в Соутгэмптон за пассажирами. «Бреслау» стоял за Лондонским мостом. Решётки передних люков были открыты для приёма груза, и вся палуба была завалена якорями, болтами, винтами и цепями. Блек Мак-Фи был занят последним осмотром своих излюбленных машин, а Мак-Фи известен как самый аккуратный из корабельных механиков. Если случайно он заметил тараканью ножку на одном из своих золотников в паровике, весь корабль узнает об этом, и половина команды отрягается для чистки.

После обеда, который проходил в маленьком уголке пустого салона и на котором присутствовали старший офицер, Мак-Фи и я, Мак-Фи снова спустился в машинное отделение, чтобы присутствовать при чистке медных частей машины. Мы же со старшим офицером поднялись на мостик и курили, наблюдая погрузку, пока я не решил, что мне пора домой. В промежутках между разговором мне казалось, что я слышу из машинного отделения какие-то дикие завывания, к которым присоединялся голос Мак-Фи, певшего о доме и домашних радостях.

– У Мак-Фи сегодня гость – корабельный мастер из Гринока, у которого он был в ученье, – сказал мне старший офи-

цер. – Но я не решился пригласить его пообедать с нами, потому что он...

– Да, я вижу, или, вернее сказать, я слышу, – отвечал я.

Мы поговорили ещё минут пять, но тут Мак-Фи поднялся к нам под руку со своим другом.

– Позвольте мне познакомить вас с этим джентльменом, – сказал он. – Он большой поклонник ваших произведений, – я только что говорил ему о них и о вас.

Мак-Фи никогда не умел сказать ни одного приличного комплимента. Друг же его внезапно уселся на валявшийся на палубе якорь, подтверждая, что Мак-Фи говорит истинную правду. Лично он был убеждён, что весы славы Шекспира сильно покачнулись единственно благодаря мне, и когда старший офицер собрался было возражать ему, он заявил ему, что рано или поздно поколотит старшего офицера, – «как по накладной». – Если бы вы только знали, – сказал он, покачивая головой, – как я рыдал на своей одинокой лавке за чтением «Ярмарки тщеславия», как я горько всхлипывал над нею, в полном очаровании!..

Он пролил несколько слезинок в доказательство правдивости своих слов, а старший офицер засмеялся. Мак-Фи поправил своему другу шляпу, надвинутую несколько набок на самую бровь.

– Это сейчас испарится, – сказал Мак-Фи. – Это просто запах в машинном отделении так действует на него.

– Мне кажется, что и мне пора испариться, – шепнул я

старшему офицеру. – Динги<sup>14</sup> готова?

Динги была на нижней палубе, и старший офицер отправился искать какого-нибудь человека, чтобы отвезти меня на берег. Он вернулся с заспанным ласкаром,<sup>15</sup> хорошо знавшим реку.

– Вы уже отправляетесь? – сказал человек, сидевший на якоре. – Мак-Фи, помогите мне пройти на шкафут. Здесь столько концов, как у кошки о девяти хвостах. Батюшки мои, какое бесчисленное множество динги!

– Вы бы лучше взяли его с собой! – сказал старший офицер. – Мухаммед Джэн, помоги сначала пьяному сахибу, а потом проведи трезвого сахиба к следующему спуску.

Я уже опустил одну ногу на корму динги, но в это время волна прилива приподняла её вверх, и человек, оттолкнув назад ласкара, стремительно бросился ко мне, отвязал кабельтов, и динги медленно поплыла вдоль борта «Бреслау» носом вперёд.

– У нас здесь не будет иноземных народов, – сказал человек. – Я тридцать лет знаю Темзу.

Мне некогда было возражать ему. Нас несло к корме корабля, а я хорошо знал, что её пропеллер наполовину выступал из воды среди перепутавшихся бакенов, низко спущенных клюзов и ошвартовавшихся судов, о которые бились волны.

---

<sup>14</sup> Нечто в роде парома или большой лодки в Ост-Индии.

<sup>15</sup> Ласкар – матрос-индус.

– Что мне делать? – крикнул я старшему офицеру.

– Найдите поскорее бот речной полиции и ради Бога постарайтесь как-нибудь отплыть подальше. Гребите веслом. Руль снят и...

Дальнейшего я не слышал. Динги скользнула вперёд, толкнулась о бакен, завертелась на месте и затанцевала, пока я брался за весла. Человек уселся на корме, подперев подбородок руками и посмеиваясь.

– Гребите же, разбойник, – сказал я, – помогите мне вывести динги на середину реки!..

– Я пользуюсь редким случаем созерцать лицо гения. Не мешайте мне думать. Здесь были «Маленькая Барнаби Доррит» и «Тайна холодного друида».<sup>16</sup> Я приехал сюда на пароходе, который назывался просто: «Друид», – скверное судёнышко. Все это теперь проплывает мимо меня. Все это плывёт назад. Дружище, вы гребёте, как гений.

Мы натолкнулись на второй бакен, и нас отнесло к корме норвежской баржи, гружённой лесом, – я увидел большие четырехугольные отверстия по обеим сторонам водореза. Затем мы нырнули в пространство между рядами барж и поплыли вдоль них, с трудом протискиваясь вперёд. Утешительно было думать, что после каждого толчка динги снова приходила в равновесие, но положение наше сильно осложнилось, когда она стала протекать. Человек поднял голову,

---

<sup>16</sup> Перепутанные и искажённые заглавия романов Диккенса: «Крошка Доррит», «Тайна Эдвина Друда», «Холодный дом» и т. д.



всмотрелся в густой мрак, окружавший нас, и присвистнул.

– Вон там я вижу линейный пароход, он идёт против течения. Держитесь к нему правой стороной и идите прямо на свет, – сказал он.

– Разве я могу где-нибудь и чего-нибудь держаться в этом мраке? Вы сидите на вёслах. Гребите же, дружище, если не хотите потонуть.

Он взялся за весла и нежно проговорил:

– Пьяному человеку ничего не сделается. Оттого-то я и хотел ехать с вами. Не годится вам, старина, быть одному в лодке...

Он направил динги к большому кораблю и обогнул его, и следующие десять минут я наслаждался – решительно наслаждался – зрелищем первоклассной гребли. Мы протискивались среди судов торгового флота Великобритании, как хорёк протискивается в кроличью норку; мы – т. е., вернее, он – весело приветствовали каждое судно, к которому мы приближались, и люди перевешивались через борт и ругали нас. Когда мы выбрались, наконец, в сравнительно спокойное место, он передал мне весла и сказал:

– Если вы будете грести так, как пишете, то я буду уважать вас за все ваши пороки. Вот Лондонский мост. Проезжайте под ним.

Мы въехали в тёмную арку и выбрались с другой стороны её, подгоняемые течением, которое пело победную песнь. У меня осталось только желание вернуться домой до утра, а в

остальном я совершенно примирился с этой прогулкой. На небе мерцали две или три звезды, и, держась посередине реки, мы были вне всякой серьёзной опасности.

Человек громко запел:

Самый красивый клипер, какой только можно найти  
Йо-хо! Охо!

Был «Маргарет Ивенс», чёрный, линейный клипер  
Сто лет тому назад.

– Напечатайте это в вашей новой книге, которая будет великолепна.

Тут он встал во весь рост на корме и продекламировал:

О! башни Юлия, вечное зло Лондона,  
Вскормленное гнусностями и полуночными убийствами,  
—

Нежная Темза течёт спокойно, пока я окончу свою песнь,  
И вот моя могила такая же маленькая, как моё ложе.

Я тоже поэт и могу чувствовать за других людей.

– Сядьте, – сказал я, – вы перевернёте лодку.

– Эй, я сижу, сижу, как наседка, – он тяжело опустился на место и прибавил, грозя мне пальцем:

Учись, благоразумный, – тщательное самонаблюдение  
Есть корень мудрости.

– Как мог человек вашего положения так напиться? Это большой грех, и вы должны на все четыре стороны помолиться Богу за то, что я с вами... Это что за лодка?

Мы уже поднялись далеко по реке, и вдогонку за нами шёл бот, на котором сидело четверо людей, мягкими и равномерными взмахами весел приближавшихся к нам.

– Это речная полиция, – сказал я как можно громче.

– О, эй! Если ваш грех не найдёт вас на суше, то уж, наверное настигнет на море. Они, по-видимому, собираются дать нам выпить?

– Весьма вероятно. Я позову их.

Я крикнул.

– Что вы там делаете? – отвечали с бота.

– Это динги, которая ушла от «Бреслау», потому что кабельтов развязался.

– Это не кабельтов развязался, а его развязал вот этот пьяница, – заорал мой спутник. – Я забрал его с собой в лодку, потому что он не может держаться на твёрдой земле.

Тут он раз двадцать прокричал моё имя, так что я почувствовал, как густой румянец покрывает моё лицо.

– Через десять минут вы будете сидеть под замком, мой друг, – сказал я, – и я сомневаюсь, чтобы вас скоро освободили...

– Шш... молчи, дружище. Они думают, что я ваш дядя.

Он взял весло и принялся брызгать водою в сидевших в лодке, когда они приблизились к нам.

– Прелестная пара! – сказал полицейский.

– Я буду всем, чем вам угодно, если вы только возьмёте от меня этого беса. Доставьте только нас на ближайшую пристань, и я не причиню вам больше никаких затруднений.

– Какая испорченность, какая испорченность! – завопил человек, опускаясь на самое дно лодки. – Он похож на гибнущего червя, этот человек! И ради какой-то жалкой полкроны – быть захваченным речной полицией в самом расцвете сил!

– Будьте великодушны, гребите! – закричал я. – Человек этот пьян...

Они подвезли нас к отмели, где был пожарный или полицейский пост; трудно было рассмотреть что-нибудь во мраке. Но я хорошо видел, что они относятся ко мне не с большим уважением, чем к моему спутнику. Я ничего не мог объяснить им, потому что я доставал дальний конец кабельтова и чувствовал себя лишённым всякой респектабельности.

Мы вышли из лодки, причём мой товарищ шлёпнулся прямо лицом на землю, а полицейский суровым тоном задал нам несколько вопросов относительно динги. Мой товарищ умыл руки, отрицая всякую ответственность в этом деле. Он был просто старый человек, которого толкнул в украденную лодку этот молодой господин – по всей вероятности, вор, – он же только спас лодку от крушения (это была совершённая правда) и теперь рассчитывал получить за это награду в виде горячего виски с водою. После этого полицейский обратился ко мне.

По счастью, на мне был вечерний костюм, и я мог показать свою визитную карточку. Но ещё большим счастьем было то, что полицейский знал и «Бреслау», и Мак-Фи. Он обещал мне отослать динги назад при первой возможности и не отказался принять от меня серебряную монету в знак благодарности. Когда все это было улажено, я услышал, как мой товарищ сердито сказал полицейскому:

– Если вы не хотите дать выпить человеку в сухой одежде, то вы должны будете дать что-нибудь утопленнику...

С этими словами он осторожно подошёл к краю отмели и вошёл в воду. Кто-то зацепил багром его за брюки и вытащил обратно на сушу.

– Ну, теперь, – сказал он торжествующим тоном, – по правилам королевского человеколюбивого общества вы должны дать мне горячего виски с водою. Не стесняйтесь перед этим молодцом: это мой племянник и славный малый. Я только не могу взять в толк, зачем ему понадобилось разыгрывать маскарадное представление, точь-в-точь как м-р Теккерей во время бури. О, тщеславие юности! Недаром Мак-Фи говорил мне, что вы тщеславны, как павлин. Теперь-то я это знаю.

– Вы бы лучше дали ему чего-нибудь выпить и посадили бы его куда-нибудь на ночь. Я совершенно не знаю, кто он такой, – с отчаянием сказал я, и, когда человек принялся пить виски, которое ему дали по моей просьбе, я поспешил ускользнуть от него и убедился, что нахожусь неподалёку от

моста.

Я пошёл по направлению к Флит-стрит, рассчитывая взять кэб и ехать домой. Когда чувство первого негодования улеглось, вся нелепость случившегося предстала передо мной с полной отчётливостью, и я принялся громко хохотать посреди опустевшей улицы, к великому смущению полицейского. И чем больше я думал об этом, тем искреннее смеялся, пока моё веселье не было остановлено рукой, опустившейся на моё плечо, и, обернувшись, я увидел его, того, кто должен был, по моим расчётам, находиться в постели при станции речной полиции. Он был весь мокрехонек; промокшая шёлковая шляпа торчала у него на самом затылке, а на плечах у него красовалось обтрёпанное одеяло, по всей вероятности составлявшее собственность государства.

– Треск горящего хвороста под горшком! – торжественно произнёс он. – Молодой человек, вы, вероятно, забыли о грехе праздного смеха? Моё сердце не обмануло меня, почуяв, что вы ушли домой, и вот я явился как раз вовремя, чтобы немножко проводить вас. Они там на реке страшно невежливы. Они не хотели даже слушать меня, когда я говорил о ваших про... извещениях, потому я и ушёл от них. Набросьте на себя одеяло, молодой человек. Оно очень тонкое и холодное.

Я внутренне застонал. Очевидно, провидению угодно было, чтобы я вечно странствовал в обществе позорного друга Мак-Фи.

– Ступайте прочь, – сказал я, – идите домой, или я отдам вас под стражу!

Он прислонился к фонарному столбу и приложил свой палец к носу – к своему бесстыдному разноцветному клюву.

– Теперь я понимаю, почему Мак-Фи сказал мне, что вы тщеславны, как павлин, а то, что вы толкнули меня в лодку, показывает, что вы пьяны, как филин. Хорошее имя все равно что вкусное жареное мясо. У меня его нет...

Он весело причмокнул губами.

– Да, я это знаю, – сказал я.

– Э, но у вас оно есть. Я теперь понимаю, что говорил Мак-Фи о вашей репутации и о вашей гордости. Молодой человек, если вы отдадите меня под стражу, – я довольно стар и гожусь вам в отцы, – я буду трубить про вас, сколько только хватит голоса; я буду выкрикивать ваше имя до тех пор, пока коровы вернутся домой. Это не шутка – быть моим другом. Если же вы пренебрежёте моей дружбой, то вы должны будете пойти вместе со мной на Вайн-стрит за кражу денег с «Бреслау».

После этого он запел во весь голос:

Утром рано,

Утром на чёрном возу

Мы потащимся на Вайн-стрит рано утром.

Это моё собственное произведение, однако я не горжусь. Пойдём вместе домой, молодой человек, пойдём вместе до-

мой.

Стоявший поблизости полицейский сообразил, что мы могли бы не стоять на месте, а пройти дальше, и мы пошли вперёд и дошли до здания суда, что возле св. Клементя. Мой компаньон понемногу затих, и его речь, которая до сих пор каким-то чудом была довольно разборчива, – и поразительно, что в его состоянии он ещё мог поддерживать разговор, – стала спотыкаться, запутываться и затемняться. Он попросил меня полюбоваться архитектурой здания суда и любовно опёрся о мою руку. Но тут он заметил полицейского, и, прежде чем я успел оттолкнуть его, бросился, увлекая и меня за собой, к нему, громко напевая:

Каждый представитель власти  
Имеет часы и уж конечно цепочку.

И он набросил своё мокрое одеяло на шлем служителя правосудия. Во всякой другой стране в мире для нас представился бы отличный предлог быть застреленными, заколотыми или, по крайней мере, избитыми прикладами, – а это ещё похуже, чем быть застреленным сразу. Но в происшедшей затем свалке я лишний раз убедился, что это была Англия, где полиция для того и существует, чтобы её лупили в своё удовольствие, чтобы на следующее утро покорно выслушать выговор в полицейском участке. Мы все трое сбились в один мокрый клубок, причём он все время кричал, называя меня



по имени, – и это было самое ужасное во всей этой истории – приглашая меня сесть на голову полицейскому и покончить с этим делом. Но мне удалось вывернуться, и я крикнул полицейскому, чтобы он убил человека с одеялом. Разумеется, полицейский отвечал мне на это: «Да вы и сами не лучше его». Тут он пустился догонять меня, и мы, обогнув церковь св. Клементя, побежали по Холиуэлл-стрит, где я попал в объятия другого полицейского. Бегство это продолжалось, вероятно, не более чем полторы минуты, но мне оно показалось таким же бесконечно длинным и утомительным, как если бы я бежал со связанными ногами в кошмарном сне. За эти полторы минуты я успел передумать о тысяче различных вещей; но особенно упорно я думал о великом и богоподобном человеке, который укрывался сто лет тому назад в северной галерее св. Клементя. Я знаю, что он понял бы мои чувства. Я был так занят этими размышлениями, что, когда второй полицейский прижал меня к своей груди и спросил: «Что вы там наделали?», я отвечал ему с изысканной вежливостью: «Сэр, не угодно ли вам прогуляться вместе со мной по Флит-стрит?» – «А мне думается, что вам нужнее будет Боу-стрит», – отвечал он, и на одну минуту мне самому показалось, что это так и есть и что я должен во что бы то ни стало избавиться от этого.

Тут произошла отвратительная сцена, осложнившаяся ещё появлением моего компаньона, который бежал ко мне со своим одеялом, крича мне и все время называя меня по

имени, – что он или выручит меня, или погибнет в борьбе.

– Ударьте его, – взмолился я, – сшибите с него сначала шляпу, а потом я вам все объясню!

Первый полицейский, тот, которого мы поколотили, поднял свой жезл и ударил моего компаньона по голове. Высокий шёлковый цилиндр треснул, и обладатель его повалился на землю, как бревно.

– Ну, теперь вы с ним покончили, – сказал я. – Вы, вероятно, убили его.

Холиуэлл-стрит никогда не спит. Скоро около нас образовалась небольшая группа людей, и кто-то из них, очевидно германского происхождения, крикнул:

– Вы убили человека.

– Я видел, как он его ударил, – вступился другой, – заметьте его номер.

Теперь вся улица была полна любопытных, собравшихся поглазеть на скандал, хотя никто, кроме меня и двух полицейских, не видел, кто и кого ударил. Я сказал громко и весело:

– Этот человек – мой друг. С ним случился припадок. Бобби, не можете ли вы сходить за носилками?

И, понизив голос, я прибавил:

– Вот здесь пять шиллингов; этот человек не трогал вас, вы поняли меня?

– Да, но вы оба с ним старались повалить меня, – сказал полицейский.

На это трудно было что-нибудь возразить.

– Вы не знаете ли, Демпсей дежурит сегодня на Чаринг Кроссе? – спросил я.

– Что вам за дело до Демпсея?..

– Если Демпсей здесь, – он знает меня. Принесите поскорее носилки, и я доставлю его на Чаринг Кросс.

– Вы пойдёте вместе со мной на Боу-стрит, именно вы, – сказал полицейский.

– Человек умирает, – он лежал на мостовой и стонал, – дайте скорее носилки! – сказал я.

Я знал лучше, чем кто-либо другой, что за церковью св. Клементя есть помещение, где хранятся носилки. По-видимому, у полицейского были и ключи от ящика, где они хранились. Мы извлекли их оттуда, они оказались трехколесной тележкой с верхом, и мы взвалили на них тело человека.

Тело, лежавшее в тележке, имело, ни дать ни взять, вид настоящего трупа.

Полицейские несколько смягчились, увидев неподвижно торчавшие пятки.

– Ну, двинулись, – сказали они, и мне показалось, что они все ещё имеют в виду Боу-стрит.

– Дайте мне хоть три минуты поговорить с Демпсеем, если он дежурный, – сказал я.

– Отлично. Он как раз дежурит сегодня.

Тут я почувствовал, что все кончится хорошо, но прежде чем мы двинулись в путь, я всунул голову под навес тележки,

чтобы убедиться, жив ли человек. Я услышал осторожный шёпот.

– Молодой человек, вы должны мне заплатить за новую шляпу. Они её сломали. И не покидайте меня, молодой человек. Я слишком стар, чтобы идти с моими седыми волосами на Боу-стрит, да ещё по вашей вине. Не покидайте меня, молодой человек.

– Ваше счастье, если вам удастся отделаться меньше чем семью годами арестантских работ, – сказал я полицейскому.

Движимые боязнью, не переусердствовали ли они действительно при исполнении своих обязанностей, двое полицейских оставили меня в покое, и печальная процессия тронулась вперёд по опустевшему Странду. Как только мы повернули на запад от Адельфи, я убедился, что нахожусь в знакомой мне части города, – убедился в этом и полицейский, потому что, когда я с гордым видом – несколько впереди катафалка – проходил мимо другого полицейского, тот сказал мне: «Доброй ночи, сэр!»

– Теперь вы видите сами, – заметил я снисходительным тоном. – Не желал бы я быть на вашем месте. Честное слово, мне было бы очень приятно заставить вас обоих прогуляться на дворе Шотландской тюрьмы.

– Все может быть, если только этот господин ваш друг, – сказал тот полицейский, который нанёс удар и размышлял теперь о последствиях.

– Может быть, вы доставите мне удовольствие – удалит-

тесь и не будете болтать обо всем этом, – сказал я. В это время вдали показалась фигура м-ра Демпсея, констебля, в блестящем клеёнчатом плаще; мне он показался ангелом света. Я уже несколько месяцев был знаком с ним; он был мой друг, которого я очень уважал и с которым мы вели длинные разговоры по утрам. Глупец старается приобрести доверие принцев и министров; но дворцы и кабинеты оставляют его на произвол судьбы. Умный человек старается установить союз между полицией и экипажами, так что его друзья выскакивают навстречу ему из участков и из рядов кэбов.

– Демпсей, – сказал я, – полиция, кажется, опять забастовала. Они поставили на посту около св. Клементя какие-то тёмные личности, которые хотели отправить меня на Боу-стрит по подозрению в убийстве.

– Господи, Боже мой! Сэр! – с негодованием воскликнул Демпсей.

– Скажите им, что я не убийца и не вор. Ведь это же просто срам, что порядочный человек не может прогуляться по набережной без того, чтобы эти негодяи не расправились с ним по-свойски. Один из них употребил все старанья, чтобы убить моего друга; и, как видите, я везу его тело домой. Поговорите с ними, Демпсей.

Если бы проступки обоих полицейских были изображены в ещё более искажённом виде, то они все же не имели бы времени хоть что-нибудь возразить на это. Демпсей заговорил с ними в таком тоне, который способен был внушить страх.

Они старались оправдаться, но Демпсей пустился в пламенное восхваление моих добродетелей, какие он мог заметить в часы наших утренних разговоров, при свете газовых рожков.

– И, кроме того, – прибавил он с жаром, – он ведь пишет также в газетах. Не желаете ли вы, чтобы он вас изобразил в газетах, и, может быть, даже в стихах, как он обыкновенно пишет? Оставьте его в покое. Уже несколько месяцев, как мы с ним друзья.

– А как же быть с покойником? – спросил полицейский, который не наносил удара.

– Я сейчас расскажу вам о нем, – медленно проговорил я, и тут я с полной точностью и очень пространно передал трём полицейским все приключения этой ночи, начиная с обеда на «Бреслау» и кончая происшествием около полицейского поста, близ св. Клементя. Я изобразил грешного старого разбойника, лежавшего в тележке, в таких выражениях, что он должен был корчиться на месте, и я думаю, что никогда ещё столичная полиция не находила предлога, чтобы так хохотать, как хохотали эти трое полицейских.

Странд вторила им громким эхо, и нечистые птицы ночи останавливали свой полет и с удивлением прислушивались.

– О, Господи! – сказал, наконец, Демпсей, вытирая мокрые от смеха глаза. – Я дорого бы дал, чтобы посмотреть, как этот старик бежит за вами, размахивая мокрым одеялом! Вы извините меня, сэр, но вы бы должны были каждую ночь отправляться на прогулку, чтобы доставить нам счастье по-

слушать вас.

И он снова разразился громким смехом.

За этим последовал звон серебряных монет, и два полицейских с поста близ св. Клементя торопливо вернулись на место стоянки, не переставая смеяться по дороге.

– Оставьте его на станции, – сказал Демпсей, – а завтра утром они отошлют тележку обратно.

– Молодой человек, вы называли меня всякими позорными именами, но я слишком стар, чтобы отправиться в госпиталь. Не оставляйте меня, молодой человек. Отвезите меня домой к моей жене, – произнёс голос в тележке.

– О, да ему ещё не так плохо? Ну, и влетит же ему здорово от жены, – заметил Демпсей, который был женат.

– Да, где вы живёте? – спросил я.

– В Бруггльсмите, – был ответ.

– Это что ещё такое? – спросил я Демпсея, который был лучше, чем я, знаком с простонародными названиями улиц.

– Брук Грин Хаммерсмит, – быстро перевёл Демпсей.

– Ну, разумеется, я так и знал, – сказал я, – это как раз такое место, которое он должен был выбрать себе для жилья.

– Вы хотите отвезти его домой, сэр? – спросил Демпсей.

– Я бы с удовольствием отвёз его домой, где бы он ни жил, хоть бы... в раю. Он, по-видимому, не собирается вылезать из этой тележки, пока я здесь. Он способен довести меня до убийства...

– Так связать его ремнём, это будет вернее, – сказал Демп-

сей, и он очень ловко перевязал два раза ремнём тележку поверх неподвижного тела человека. Бруггльсмит – я не знаю его настоящего имени – спал крепким сном. Он даже улыбался во сне.

– Все в порядке, – сказал Демпсей, а я покатил дальше свою проклятую тележку. Трафальгарский сквер был совершенно пуст, за исключением немногих людей, спавших под открытым небом. Одно из этих жалких существ поднялось и пошло рядом со мной, прося милостыню и уверяя, что и он был когда-то джентльменом.

– Точь-в-точь как я, – сказал я. – Но это было давно. Я дам вам шиллинг, если вы поможете мне толкать эту штуку.

– Он убит? – спросил бродяга, пятясь от меня. – Но ведь я к этому непричастен.

– Нет ещё, но он, может быть, будет убит... мною, – отвечал я.

Человек нырнул в темноту и исчез, а я поспешил дальше через Кокспер-стрит и вверх к цирку Пикадилли, совершенно не зная, что мне делать с моим сокровищем. Весь Лондон спал, и неподвижное тело пьяницы было единственным моим обществом в этой прогулке. Но оно было безмолвно, как сама целомудренная Пикадилли... Когда я проходил мимо красного кирпичного здания клуба, из дверей его вышел знакомый мне молодой человек. В петлице его костюма виднелась увядшая гвоздика, поникшая головкой; он играл в карты и собирался до рассвета вернуться домой; в это время мы



встретились с ним.

– Что вы тут делаете? – спросил он.

Я совершенно уже утратил всякое чувство стыда.

– Это – на пари, – отвечал я. – Помогите мне выиграть его.

– Молодой человек, кто это такой? – раздался голос из-под навеса.

– Господи, Боже мой! – воскликнул мой знакомый, перебегая мостовую. Вероятно, карточная игра подействовала на его нервы. Мои нервы были словно из стали в эту ночь.

– Господи, Господи! – послышался изнутри бесстрастный, равнодушный голос. – Не надо богохульствовать, молодой человек! Он придёт и к вам когда-нибудь в своё время.

Молодой человек с ужасом взглянул на меня.

– Это все входит в пари, – отвечал я. – Помогите мне толкать тележку.

– Ку... куда же вы хотите ехать? – спросил он.

– В Бругтльсмит, – сказал голос в тележке. – Молодой человек, вы знаете мою жену?

– Нет, – сказал я.

– Это хорошо: она ужасная женщина. Молодой человек, я бы хотел выпить. Постучитесь в одну из этих пивных, и за свои труды вы можете поцеловать дев... вушку.

– Лежите смирно, или я принуждён буду заткнуть вам глотку, – грубо сказал я.

Молодой человек, с увядшей гвоздикой в петлице, перешёл на другую сторону Пикадилли и кликнул единственный

кэб, который был виден издалека. Что он думал при этом, осталось мне неизвестным.

Я же поспешил, катя перед собой тележку, – путешествие казалось мне бесконечным – по направлению к Брук-Грин-Хаммерсмиту. Здесь я думал оставить Бруггльсмита под опекой богов этой печальной местности. Мы провели столько времени вместе, что я не мог решиться покинуть его связанным на улице. Но, кроме того, он бы стал звать меня, а ведь это такой позор, когда ваше имя выкрикивают на рассвете в пустоте лондонских улиц.

Так двигались мы вперёд, прошли мимо Апелей, дошли до кофейни, но в ней не было кофе для Бруггльсмита. Затем я покати́л свою тележку с телом Бруггльсмита по величественной Найтсбридж.

– Молодой человек, что вы хотите сделать со мной? – сказал он, когда мы очутились напротив казарм.

– Убить вас, – коротко отвечал я, – или сдать вас на руки вашей жены. Сидите спокойно.

Но он не желал слушаться. Он болтал без умолку, перемешивая в одной и той же фразе чистый диалект с какой-то пьяной неразберихой. На площади Амберта он сказал мне, что я ночной грабитель из Хаттон-Гардена. На Кенсингтон-стрит он заявил, что любит меня, как сына, а когда мои усталые ноги дотащились до Аддисон-Род-Бриджа, он со слезами умолял меня освободить его от ремней и бороться с грехом тщеславия. Ни один человек не побеспокоил нас. Казалось, что

между мной и всем остальным человечеством была воздвигнута перегородка до тех пор, пока я не покончу счётов с Бруггльсмитом. Небо стало проясняться; тёмная деревянная мостовая вдруг окрасилась в багряный цвет вереска; я не сомневался, что до наступления вечера мне будет дозволено отомстить Бруггльсмиту.

В Хаммерсмите небо было свинцово-серое, – начинался пасмурный день. Волны меланхолии после бесполезно проведённой ночи рвали душу Бруггльсмита. Он горько заплакал, потому что вокруг было так холодно и неприятно. Я вошёл в ближайшую харчевню – в вечернем туалете и в ульстере я подошёл к стойке – и дал ему виски с условием, чтобы он не колотил руками о верх тележки. Тут он заплакал ещё горше от того, что я довёл его до кражи денег и сделал его своим соучастником.

Был бледный и туманный день, когда я пришёл к концу своего путешествия и, откинув верх тележки, попросил Бруггльсмита объяснить мне, где он живёт. Его глаза уныло блуждали по рядам серых и красных домов, пока не остановились на вилле, в саду которой висела доска с надписью: «Сдаётся внаём». Казалось, только этого и недоставало, чтобы окончательно сломить его, и вместе с этим исчезло все красноречие его гортанного северного говора: вино все сглаживает.

– Все пропало в одну минуту! – зарыдал он. – Все пропало. Дом, семья, прекраснейшая семья, и жена моя... Вы не

знаете мою жену! Я так недавно оставил их всех. И теперь все продано, все продано. Жена, семья – все продано. Пустите меня, я побегу вперёд!

Я осторожно развязал ремни. Бруггльсмит спустился с тележки и, шатаясь, побрёл к дому.

– Что мне делать? – сказал он.

Тут я понял самые низменные глубины замыслов Мефистофеля.

– Позвоните, – сказал я, – она, может быть, на чердаке или в погребе.

– Вы не знаете мою жену. Она спит на софе в спальне, поджидая, когда я вернусь домой. Нет, вы не знаете моей жены.

Он снял свои сапоги, покрыл их своей высокой шляпой и, крадучись, как какой-нибудь краснокожий индеец, стал пробираться по садовой дорожке, тут он ударил сжатым кулаком по звонку с надписью «посетители».

– И звонок продали!.. Продали великолепный звонок!.. Что мне делать?.. Этот звонок не действует, я не могу с ним справиться! – с отчаянием простонал он.

– Да вы тяните его посильнее, тяните хорошенько, – повторил я, украдкой посматривая на дорогу. Время мщения пришло, и я не желал иметь свидетелей.

– Да я уж и так тяну изо всех сил, – он вдохновенно хлопнул себя по лбу. – Да я его вытяну совсем!!

Откинувшись назад, он обеими руками ухватился за руч-

ку звонка и потянул его к себе. В ответ раздался дикий звон из кухни. Поплевав на руки, он возобновил усилия со звонком, в то же время громко призывая жену. Потом, приложив ухо к ручке, он послушал некоторое время, покачал головой, вытащил огромный зелёный с красным платок, обернул им ручку, повернулся спиной к двери и стал тянуть через плечо. Ни платок, ни проволока упорно не желали поддаваться. Но я забыл о звонке. Что-то треснуло в кухне, и Бругльсмит медленно покатился вниз по ступенькам лестницы, мужественно не выпуская из рук рукоятки звонка; три фута проволоки тащилось следом за ним.

– Тяните же, тяните! – выкрикнул я. – Сейчас он зазвонит!

– Отлично, – сказал он, – теперь я сам буду звонить.

Он нагнулся вперёд, натягивая зазвеневшую проволоку и прижимая ручку звонка к своей груди, что вызвало такой страшный трезвон и шум, словно вместе со звонком в кухне оторвалась часть деревянной стенки и фундамента.

– Вы можете её продать! – крикнул я ему, и он стал ещё сильнее тянуть хорошую медную проволоку, оборачивая её вокруг самого себя.

Я вежливо приоткрыл калитку сада, и он вышел из него, плетя себе собственный кокон. Звонок все время торопливо звонил, и проволока тянулась без конца. Он вышел на середину дороги, кружась, как майский жук на булавке, и призывая, как безумный, свою жену и семью. Тут он наткнулся на тележку; звонок внутри дома издал последний отчаян-

ный трезвон и перескочил из дальнего конца дома к дверям передней, где и застрял прочно. Но мой друг Бруггльсмит не последовал его примеру. Он бросился плашмя в тележку, обнял её, и в этот миг тележка перекувырнулась, и они покатались вместе, запутавшись в сетях проволоки, из которой никаким образом невозможно было его освободить.

– Молодой человек, – с трудом выговорил он, задыхаясь, – не могу ли я получить законного лекарства?

– Я пойду и поищу вам его, – сказал я и, отойдя немного, встретил двух полицейских.

Я рассказал им, что восход солнца застал в Брук-Грине грабителя, который пытался унести медную проволоку из пустого дома. Может быть, они позаботятся об этом босоногом воре. Он, по-видимому, находится в затруднительном положении. Я направился к площади и – о, удивление! – в блеске восходящего дня я увидел знакомую мне тележку, перевернутую колёсами вверх, и передвигающуюся на двух ногах, колеблясь взад и вперёд в четверти круга, радиусом которого была медная проволока, а центром – основание звонка из пустой квартиры.

Помимо поразительной ловкости, с которой Бруггльсми-ту удалось прикрепить себя к тележке, констеблей особенно заинтересовало то обстоятельство, каким образом тележка с поста св. Клементя очутилась в Брук-Грин-Хаммерсмите.

Они даже спросили меня, не знаю ли я чего-нибудь об этом? Не без труда и возни им удалось, наконец, освободить

его. Он объяснил им, что оборонялся от нападения грабителя, который продал его дом, жену и семью. Что касается звонка и проволоки, то он уклонился от объяснения, и полицейские, подхватив его под мышки, повлекли за собой.

И хотя ноги его на шесть дюймов возвышались над землёй, он быстро перебирал ими, и я видел, что он воображал себя бегущим, бегущим со страшной скоростью.

Вспоминая об этом случае, я не раз спрашивал себя, – не захочет ли он когда-нибудь разыскать меня?

# Барабанщики

## «Передового и тыльного»

В армейском списке этот полк все ещё значился как «Передовой и прикомандированный к собственной королевской лёгкой пехоте принцессы Гогенцоллерн-Сигмаринген-Ауспах-Мертир-Тайдфильшайрской, полкового округа 329А», но армия по всем своим трактирам и казармам звала его просто «Передовым и Тыльным». Может быть, со временем люди этого полка сделают ещё это прозвище почётным, но теперь они считают его позорным, и человек, назвавший так полк при них, рискует поплатиться собственными боками.

Если уж малейший намёк на оскорбление, произнесённый едва слышным шёпотом в конюшнях такого полка, мог вызвать его солдат на улицу с щётками, швабрами и невообразимой руганью, то на прозвище «Передовой и Тыльный» они все могли ответить винтовками.

Единственное, что их оправдывает, это то, что они вернулись назад и дали отпор врагу штыками. И все-таки всем кругом было известно, что они были разбиты, испугались и постыдно бежали. Это знают солдаты, знает конная гвардия и будет знать враг в ближайшей войне. Есть два-три таких полка, имеющих тёмные пятна на своей репутации; они жаж-



дут смыть эти пятна, и не поздоровится тем, за чей счёт будет восстановлено доброе имя.

Мужество британского солдата официально предполагается безукоризненным, и, как общее правило, оно, действительно, таково. Исключения тщательно затушёвываются и только изредка обнаруживаются в неосторожном полуночном разговоре за офицерским столом. В этих случаях можно услышать и не такие странные и ужасные истории. Здесь могут рассказать, например, о солдатах, отказавшихся следовать за своими офицерами, или о распоряжениях, данных людьми, не имеющими на то никакого права и посрамлёнными, в конце концов, к вящей славе британской армии. Такие истории невесело слушать, и офицеры рассказывают их друг другу на ухо, сидя у пылающего камина, а молодые офицеры низко опускают головы и думают про себя, что, Бог даст, их солдаты никогда не поступят подобным образом.

Конечно, британский солдат в массе не может отвечать за случайные оплошности единиц, хотя руководствоваться таким соображением он и не должен. Если среднего ума генерал потратит не меньше шести месяцев, чтобы овладеть силами войска, которое поведёт на войну, если любой полковник может ошибиться в оценке боеспособности своего полка после трехмесячного командования им и если даже простой командир роты может запутаться в тех или иных распоряжениях, отдаваемых горсти своих солдат, так как же можно осуждать за какой-либо промах солдата, и особенно сол-

дата нынешнего времени? Он может быть потом расстрелян или повешен, чтобы другим неповадно было, но говорить об этом нужно с большим тактом и спустя много времени.

Скажем, например, солдат был на службе четыре года. Ещё через два года он уйдёт уже в отставку. Он не унаследовал соответствующей морали, четыре года недостаточны даже для укрепления его мускулов, а уж не только для того, чтобы внедрить ему понятие о значении чести полка. Он любит выпить, насладиться благами жизни – в Индии хочет скопить денег, – и ему вовсе не улыбается быть раненым или искалеченным. Он воспитан ровно настолько, чтобы понять половину значения получаемых распоряжений или отличить рану огнестрельную от резаной или рваной. Но если роте прикажут развернуться под неприятельским огнём в ожидании атаки, солдат будет знать, что подвергается большому риску, и постарается выиграть минут десять времени на размышления. Рота может развернуться с отчаянной быстротой, или запутаться, или разделиться, в зависимости от дисциплины, к какой привык солдат за четыре года службы.

Вооружённый недостаточными знаниями, наделённый, на своё горе, кое-каким воображением, скованный предрассудками и обострённым самолюбием, человек простого звания, подчас отверженный полковой компанией, молодой солдат встречается с восточным врагом, всегда безобразным, громадным, волосатым и дико исступлённым. Если он, оглядываясь направо и налево, видит около себя старых солдат, слу-

живших уже лет по двенадцати, с уверенностью и без излишней сутолоки исполняющих своё дело, он успокаивается и бодро идёт на врага – плечом к плечу с ними. И бодрость окончательно овладевает его духом, когда он слышит шёпот своего командира, который учил его и кормил его при случае зуботычинами: «Пусть поорут и побеснуются ещё минут пять, а как подойдут к нам, мы их и возьмём за шиворот».

Но тот же солдат – несчастный человек, когда видит вокруг себя только своих сверстников по службе, бледнеющих, трясущимися руками ощупывающих собачку ружья и шепчущих: «Что нам теперь делать, погибли мы!» А командир в это время, обливаясь потом, сжимает рукоятку сабли и кричит без памяти: «Стройся в ряды! Целься! Стройся ровнее!.. Ложись на землю!» Потом опять – «Стройся! Целься!» И так далее без всякого толку. И совсем уж погибнет он, когда услышит, как рухнет рядом с ним товарищ, как зарезанный бык, с рёвом и с лязгом железной кочерги. Если бы ещё он мог видеть действие своего выстрела на врага, ему было бы веселее и, может быть, тогда разгорелась бы в нем та слепая страсть к битве, которая, вопреки всеобщему убеждению, управляется хладнокровным дьяволом и разжигает людей, как лихорадка. Если же этого нет, и он начинает ощущать холод под ложечкой, да ещё если его в таком состоянии нещадно бьют, и он слышит команду, какой раньше не слышал, он приходит в смятение и расстраивает ряды. И нет ничего ужаснее на свете расстроенного британского полка.

Когда дело с каждой минутой становится все хуже и хуже, когда паника растёт и превращается в эпидемию, люди бегут врассыпную, и командиру приходится искать спасения во вражеском лагере. Зато, если солдат удастся вернуть, плохо придётся тому, кто с ними встретится, потому что они не рассыпятся уже вторично.

Лет через тридцать, когда нам удастся воспитать хотя наполовину всех, кто носит панталоны, наша армия будет великолепно, несокрушимой машиной. Ещё через некоторое время, когда солдаты сравняются по развитию с нынешними офицерами, они перевернут землю. Грубо говоря, с работой мясника на войне одинаково может справиться и негодяй и джентльмен, а лучше всего, если негодяй будет состоять под командой джентльмена. Идеальный солдат, без сомнения, будет руководствоваться тем, что говорится в его карманной книжке. К сожалению, чтобы достигнуть этой добродетели, солдат должен пройти через фазу размышления о себе, а это плохой путь. Негодяй не особенно способен размышлять о себе, но отлично сумеет убить, и небольшая муштровка приучит его беречь собственную шкуру и распарывать чужую. Вместе с тем, сильный и богомольный, полк горцев, с целым рядом офицеров-пресвитерианцев, может потерпеть гораздо большую неудачу, нежели тысяча ирландских разбойников, предводительствуемых молодыми головорезами и безбожниками. Но такие исключения подтверждают правило, гласящее, что нельзя доверять только средним людям.

У них есть представления о ценности жизни, а воспитание приучило их идти вперёд и пользоваться успехом. Их офицеры хороши настолько, насколько могут быть такими, принимая во внимание, что их тренировка начинается рано, и что Господь Бог дал британским юношам среднего класса здоровый спинной хребет, здоровые мозги и такие же внутренности. Поэтому детина в восемнадцать лет хотя и не знает, что делать с мечом в руке, но исправно наслаждается биением сердца в груди, пока оно там работает. Если ему приходится умирать, он умирает джентльменом. Если он остаётся в живых, он пишет домой, что был «искрошен», «иссечён», «изрезан», и осаждает правительство просьбами о пособиях за раны, пока новая небольшая стычка с неприятелями не оторвёт его от этого занятия и не вышлет ещё раз на фронт после того, как он успел уже дать ложную клятву в медицинском департаменте, подольститься к своему полковнику и обойти его адъютанта.

Все эти благочестивые размышления привели мне на память двоих бесенят, самых отчаянных из всех когда-либо бивших в барабан или игравших на флейте перед британским полком. Они кончили свою греховную карьеру открытым и бурным проявлением храбрости и были убиты за это. Звали их Джекин и Лью – Пигги Лью – и были они наглые, испорченные мальчишки-барабанщики, частенько подвергавшиеся порке тамбур-мажором «Передового и Тыльного».

Джекин был хилый мальчуган лет четырнадцати, Лью – приблизительно такого же возраста. Оба курили и пили, когда за ними не смотрели. Они ругались, как принято ругаться в казармах, – хладнокровно и цинично, сквозь стиснутые зубы, и дрались аккуратно каждую неделю. Джекин выскочил из лондонских канав и неизвестно, прошёл или нет через руки доктора Бернардо, прежде чем приобрёл звание ротного барабанщика. Лью не мог ничего вспомнить, кроме разных ротных и полковых впечатлений из самого раннего своего детства. В глубоких тайниках своей маленькой, испорченной души он носил прирождённую любовь к музыке и обладал, по злой насмешке судьбы, внешностью херувима. Последнее обстоятельство привлекало к нему внимание прекрасных дам, посещавших полковую церковь и называвших его «милашкой». Они не слыхали купоросных замечаний, какие отпускал он по их адресу, возвращаясь с ротой в казарму и вынашивая новые планы возмездия Джекину.

Другие юные барабанщики ненавидели обоих мальчуганов за их нелепое поведение. Джекин мог быть исколочен Лью, или Лью мог затолкать голову Джекина в грязь, но малейшее заступничество со стороны, даже в защиту того или другого, вызывало дружный отпор обоих, кончавшийся всегда печально для вступившегося. Мальчики были Измаилами в роте, но Измаилами богатыми, так как они дрались на потеху всей роты, когда не были натравлены на других барабанщиков, и получали за это деньги.

В тот замечательный день в лагере был раздор. Они были только что обличены в курении, которое вредно для мальчиков их возраста, особенно когда они курят крепкий дешёвый табак. Лью упрекал Джекина в том, что «он подло спрятал в карман трубку», так что он, Лью, отвечал и был высечен один за то, в чем были виноваты оба.

– Я говорю тебе, что забыл свою трубку в казарме, – сказал Джекин примирительным тоном.

– Ты отменный лгун, – сказал Лью хладнокровно.

– А ты отменный ублюдок, – сказал Джекин, вполне осведомлённый о том, что его родители никому не известны.

В самом объёмистом казарменном словаре это единственное слово, которое никогда и никому не спускается. Вы можете назвать человека вором и ничем не рисковать при этом. Вы можете назвать его даже трусом и получите только сапогом в ухо, но если вы назовёте человека ублюдком, то уж готовьтесь к тому, что он выбьет вам сапогом зубы.

– Сказал бы ты это тогда, когда я был здоров, – мрачно произнёс Лью, осторожно обходя Джекина.

– Я сделаю тебе ещё больнее, – неожиданно выпалил Джекин и влепил здоровый удар в алебастровый лоб Лью.

Все кончилось бы благополучно в этой истории, как говорится в книгах, если бы злой рок не принёс сюда сына базарного сержанта, долговязого, двадцатипятилетнего бездельника. Он всегда нуждался в деньгах и знал, что у мальчиков водится серебро.

– Ну-ка, подеритесь ещё, – сказал он. – Я донесу на вас отцу, а он пожалуется тамбур-мажору.

– Что тебе нужно? – спросил Джекин, зловеще раздувая ноздри.

– Ого? Мне – ничего. Вы опять собираетесь драться и знаете, что вам и так уж много раз спускали.

– От какого дьявола знаешь ты, что мы собираемся делать? – спросил Лью. – Ты даже и не в армии, презренный штафирка!

Он встал у левого бока пришедшего.

– Да нечего тебе совать свой длинный нос в чужие дела джентльменов, которые решают свой спор кулаками. Ступай-ка лучше, пока цел, к своей шляхе Ма, – сказал Джекин, становясь с другого бока.

Пришедший попытался ответить мальчуганам, стукнув их головами. План мог бы удалиться, если бы Джекин не ударил его с яростью в живот, а Лью под колени. Все трое дрались с полчаса, задыхаясь и обливаясь кровью. Наконец мальчуганам удалось опрокинуть противника на землю, и они с торжеством накинулись на него, как терьеры на шакала.

– погоди, – хрипел Джекин, – теперь я тебе покажу! – Он продолжал молотить противника по лицу, в то время как Лью усердно дубасил по всему телу. Рыцарство не в ходу у юных барабанщиков. Они поступают по примеру старших и дерутся, оставляя здоровые синяки.

Страшен был вид пострадавшего, когда ему удалось на-



конец освободиться, и не менее страшен был гнев базарного сержанта. Ужасна была и сцена в дежурной комнате, когда явились туда к ответу оба нечестивца, обвиняемые в том, что до полусмерти избили «штатского». Базарный сержант жаждал преувеличить картину преступления, и его сын лгал. Мальчиков допрашивали, и чёрные тучи сгущались над ними.

– Вы, маленькие дьяволята, доставляете мне больше хлопот, чем весь полк, взятый вместе, – сердито сказал полковник. – Что я с вами буду делать? Увещевания на вас не действуют, в тюрьму или под арест вас не засадишь, только и остаётся опять выпороть!

– Прошу прощения, сэр. Не можем ли мы сказать несколько слов в нашу защиту, сэр? – пропищал Джекин.

– Это что ещё? Не желаешь ли ты также и со мной подраться? – спросил полковник.

– Нет, сэр, – ответил Лью. – Но если к вам приходит человек, сэр, и объявляет, что идёт донести на вас за то, что вы крошечку повздорили с вашим другом, сэр, и хочет содрать с вас денег, сэр...

Дежурная комната огласилась взрывом хохота.

– Ну?.. – сказал полковник.

– А так хотел сделать этот господин, с прыщами на лице, сэр. И мы только не хотели допустить, чтобы он это сделал, сэр. Мы немного поколотили его, сэр. Но ему не нужно было вмешиваться в наши дела, сэр. Мне не хотелось быть выпо-

ротым тамбур-мажором, сэр, не хотелось, чтобы на меня доносил какой-нибудь капрал, но я... я думаю, сэр, что некрасиво, сэр, когда приходит штатский и разговаривает таким образом с военным человеком, сэр.

Новый взрыв хохота огласил дежурную комнату, но полковник оставался серьёзным.

– Какого поведения вообще эти мальчишки? – спросил он полкового сержанта.

– Капельмейстер, сэр, – единственный человек в полку, которого они боятся, – говорит, что они могут сделать все, но никогда не солгут.

– Неужели мы пошли бы на обман из-за такого человека, сэр? – сказал Лью, указывая на пострадавшего.

– Ну, хорошо, убирайтесь вон, – раздражённо сказал полковник, и, когда мальчишки вышли, он отчитал сына базарного сержанта за то, что он вмешивается не в своё дело, и приказал капельмейстеру держать построже барабанщиков.

– Если ещё который-нибудь из вас придёт ко мне на учёные с такой разукрашенной мордой, – заорал капельмейстер, – я прикажу тамбур-мажору содрать шкуру с вас обоих! Поняли, бесенята?

Но он тотчас же поспешил смягчить свою угрозу, как только Лью, похожий на серафима с опущенными крыльями, подошёл к трубе и огласил окрестность боевой мелодией. Лью был, действительно, музыкант и часто в самые трудные минуты жизни изливал свои чувства при помощи любо-

го инструмента в оркестре.

– Ты мог бы быть и капельмейстером, Лью, – сказал капельмейстер, который и сам втихомолку занимался композиторством, работая, кроме того, день и ночь со своим оркестром.

– Что он сказал тебе? – спросил Джекин после учения.

– Сказал, что я могу быть прекрасным капельмейстером и попивать винцо на офицерских пирушках.

– Ого! Сказал, значит, что ты никуда не годный солдат! Вот что он сказал тебе. Когда я выслужу свой срок в мальчиках – позорно, что нам не дают пенсии! – то буду учиться дальше, через три года буду сержантом. Только я не женюсь тогда, ни за что не женюсь! Буду учиться на офицера, потом поступлю в полк, который обо мне ничего не знает. И буду отличным офицером. Тогда я поднесу вам стаканчик винца, мистер Лью, а вы будете стоять передо мной на вытяжку в передней, когда я подам его в ваши грязные лапы.

– Если я даже буду капельмейстером? Ошибаетесь! Я ведь тоже буду офицером. В этом нет ничего мудрёного, стоит только взяться за дело, как говорил наш учитель. Полк не вернётся домой раньше, как через семь лет. К тому времени я успею выйти в люди.

Так строили мальчишки планы на будущее и вели себя вполне добродетельно целую неделю. Лью занялся уходом за тринадцатилетней дочкой штандартного сержанта – «не с какими-нибудь серьёзными намерениями, – как

он объяснил Джекину, а так, чтобы позабавиться». И черно-волосая Крис Делигхан наслаждалась этим флиртом, предпочитая Лью всем другим поклонникам, что приводило в ярость молодых барабанщиков и заставляло Джекина читать проповеди об опасности «связываться с юбками».

Но ни любовь, ни добродетель не могли удержать Лью в окопах после того, как по всему полку начали говорить о том, что предстоит настоящая служба и участие в войне, которую мы для краткости назовём «Войной с заблудшими племенами».

В солдатские казармы слух проник, пожалуй, раньше, чем в офицерские помещения. А из девятисот человек солдат едва ли десять слышали настоящие боевые выстрелы. Полковник лет двадцать назад участвовал в пограничной экспедиции. Один из майоров служил когда-то на Мысе. Был ещё один дезертир, которому приходилось чистить улицы в Ирландии. Вот и все. Полк был уже много лет в забвении. Преобладающая масса нижних чинов служила от трех до четырех лет, унтер-офицерам было лет по тридцать. Как солдаты, так и сержанты давно перестали говорить о событиях, записанных на знамёнах – новых знамёнах, получивших торжественное благословение архиепископа в Англии перед выступлением полка.

Они рвались в бой, пламенно желали его, но не знали, о какой войне идёт речь, и не было никого, кто мог бы сказать им это. Это был хорошо воспитанный полк, в его рядах боль-

шинство окончило школу, и почти все солдаты были больше чем только грамотные. Полк поддерживался и пополнялся из территориальных соображений, но солдаты не имели ни малейшего представления об этих соображениях. Они были взяты из переполненного жителями мануфактурного округа. Хорошее питание и размеренная жизнь в полку покрыли мясом их узкие кости и развили их мускулы, но этого было мало, чтобы вложить мужество в душу потомков целых поколений, работавших за скудное вознаграждение, изнывавших от жары в сушильнях, гнувших спину над станками, задыхавшихся среди меловой пыли и мёрзнувших на баржах с извёсткой. Солдаты отъелись и отдохнули в армии, а теперь пойдут бить «негров» – народ, который бежит во все лопатки, как только захвнут на него палкой. Вот почему они радостно приветствовали известие о войне. Что касается унтер-офицеров, то они рассчитывали на военные прибыли и сохранение жалованья. А в главном штабе говорили: «Передовой прикомандированный ни разу не был ещё под огнём. Нужно дать ему обломаться хорошенько на коммуникационных линиях». На фронте вообще нуждались в британских полках, так как полки, составленные из местных уроженцев, не внушали доверия. «Соединить их с двумя сильными, опытными полками, – говорили в штабе, – глядя на них, они пообтешутся. Потом познакомятся разок-другой с ночными бродягами, да перережут с полдюжины глоток, живо вымуштруются».

Командир написал, что настроение в полку превосходное. Майоры радостно улыбались, а субалтерны вальсировали друг с другом в офицерском клубе после обеда и чуть не перестреляли собственных товарищей, практикуясь в стрельбе из револьверов. Смятение царствовало только в душах Джекина и Лью. Что будут делать с барабанщиками? Возьмут ли оркестр на фронт? Сколько барабанщиков будет сопровождать полк?

Они держали совет вдвоём, сидя на дереве и покуривая трубки.

– Недурно будет, если оставят нас здесь с женщинами. Хотя тебе только это и нужно, – саркастически проговорил Джекин.

– Это ты о Крис? Что значит женщина, или даже целая сотня женщин, в сравнении с боевой службой! Я не меньше тебя хочу идти на войну, – сказал Лью.

– Хотел бы я быть хорошим горнистом, – печально сказал Джекин. – Тома Кидда они возьмут, а нас нет.

– Так пойдём отделаем Кидда так, чтобы он не мог играть. Ты будешь держать, а я колотить, – сказал Лью, вертясь на сучке.

– Ничего из этого не выйдет. На нас и без того злятся. Если оркестр оставят здесь, так уж нас с тобой, конечно, не возьмут. А ты годеи, Пигги, что говорит доктор? – спросил Джекин, ткнув Лью изо всей силы под ребра.

– Конечно, – ответил Лью и побожился. – Доктор говорит,

у тебя слабая грудь от того, что много куришь и мало ешь. Ударь-ка меня в грудь как следует, посмотрим, выдержу ли.

Он выпятил грудь, и Джекин ударил его, не щадя сил. Лью побледнел, покачнулся, заморгал глазами и закашлялся, но тотчас же оправился и проговорил:

– Ничего!..

– Годишься, – сказал Джекин. – Я слышал, что человек может умереть, если его изо всей силы ударить в грудь.

– Так не будем больше так делать, – сказал Лью. – Не знаешь, куда нас посылают?

– Бог знает. Куда-нибудь на границу, бить патанов – волосатых бродяг, которые, говорят, выворотят наизнанку, если попадешься им в лапы. А вот женщины у них, говорят, недурны.

– Есть что пограбить?

– Хороших денег, говорят, не найдёшь, пока не поищешь под землёй. Поживиться нечем. – Джекин приподнялся и посмотрел вдаль.

– Лью, – сказал он, – там идёт полковник. Он хороший старикашка. Поговорим с ним.

Лью чуть не слетел с дерева от смелости предложения. Как и Джекин, он не боялся ни Бога, ни людей, но есть предел даже смелости барабанщиков, и разговаривать с полковником...

Но Джекин соскочил уже с дерева и направился к нему. Полковник шёл, погруженный в мечты и размышления о на-

градах и повышениях, рассчитывая на репутацию «Передового», как лучшего полка на линии. Неожиданно его глаза остановились на мальчуганах, направляющихся к нему. Только что перед этим ему рапортовали, что «барабанщики в беспокойном состоянии, и Джекин и Лью мутят других». Это походило уже на организованный заговор.

Мальчики остановились в двадцати шагах и сделали все, что полагалось по военному уставу. Полковник был в прекрасном расположении духа. Мальчики казались такими потерянными и беспомощными среди необъятной равнины, а один из них был ещё, кроме того, и красив.

– Ну! – сказал полковник, узнав их. – Что же вы, бунтуете против меня? Кажется, я вас не трогаю, даже тогда, – он подозрительно понюхал воздух, – когда вы курите.

Нужно было ковать железо, пока оно горячо. Сердца отбивали дробь.

– Осмелюсь просить прощения, сэр, – начал Джекин. – Полк призывается на действительную службу, сэр?

– По-видимому, – любезно ответил полковник.

– Идёт ли оркестр, сэр? – спросили оба разом. И потом без всякого перерыва:

– А нас возьмут, сэр?

– Вас? – переспросил полковник, отступая назад и окидывая взглядом обе маленькие фигурки. – Вас? Да вы умрёте, не дойдя до места.

– Нет, сэр! Мы можем идти за полком куда угодно, сэр, –



сказал Джекин.

– Если уж Том Кидд идёт, сэр, а он гнётся, как складной нож, – сказал Лью. – У Тома очень стянуты жилы на обеих ногах, сэр.

– Очень... что?

– Очень стянуты жилы, сэр. Потому у него ноги распухают после очень длинного парада, сэр. Если уж он может идти, так о нас и говорить нечего, сэр.

Опять оглядел их полковник долгим внимательным взглядом.

– Да, оркестр идёт, – сказал он совершенно серьёзно, как бы разговаривая с офицерами. – Есть у кого-нибудь из вас родители?

– Нет, сэр, – радостно заявили оба. – Мы оба сироты, сэр. Если нас убьют, никого не придётся утешать, сэр.

– Эх вы, мелюзга несчастная! Так зачем же вам понадобилось идти на фронт с полком?

– Я уже два года носил мундир королевы, – сказал Джекин. – Это очень тяжело, сэр, когда человек не получает награды за исполнение своих обязанностей, сэр.

– И я тоже... и я тоже, сэр, – прервал Лью товарища. – Капельмейстер сделает из меня хорошего музыканта, сэр.

Полковник долго не отвечал. Затем сказал спокойно:

– Если доктор разрешит, то я препятствовать не буду. Только я на вашем месте не курил бы.

Мальчики отдали честь и исчезли.

Придя домой, полковник рассказал про них жене, которая чуть не расплакалась. Но полковник был доволен. Если таково рвение у детей, каково же оно у солдат?

Джекин и Лью с гордостью проследовали в бараки и отказывались вступать в какие бы то ни было разговоры с товарищами в продолжение, по крайней мере, десяти минут. Наконец, преисполненный важности Джекин проговорил:

– Я только что говорил с полковником. Хороший старикашка. Я говорю ему: «Сэр, пустите меня на фронт с полком». – «На фронт я тебя отпущу, – сказал он. – И я очень хотел бы, чтобы было побольше таких, как ты, среди этих грязных бесенят-барабанщиков». Кидд, если ты будешь ещё хвастаться передо мной, то твоим ногам достанется.

Битва разгорелась-таки в казармах, так как мальчики сгорали от зависти и ненависти к Лью и Джекину, которые, конечно, не способствовали умиротворению их душ.

– Ну, пойду проститься с моей девочкой, – сказал Лью, подливая масла в огонь. – Пожалуйста, не трогайте моё оружие, оно пригодится ещё мне в походе. Ведь меня пригласил сам полковник.

Он ушёл и свистел в кустах за квартирами для женатых до тех пор, пока не вышла Крис. Тогда, после взаимных поцелуев, Лью объяснил ей положение дел.

– Я иду на фронт с полком, – с важностью заявил он.

– Ты лгунишка, Пигги, – сказала Крис, хотя в сердце её уже закралось беспокойство, так как она знала, что Лью не

имел привычки лгать.

– Ты сама лгунишка, Крис, – сказал Лью, обнимая её. – Я иду. Когда полк будет выступать, ты увидишь, как я буду шагать с ним. По этому поводу ты должна меня ещё раз поцеловать, Крис.

– Если ты останешься здесь, то будем целоваться, сколько захочешь, – проговорила Крис, подставляя губы.

– Разлука тяжела, Крис. Знаю, что очень тяжела. Но что делать? Если бы я остался здесь, ты скоро перестала бы думать обо мне.

– Может быть, и перестала бы, Пигги, но ведь ты был бы со мной. А лучше не думать совсем, да целоваться. Ничто на свете не сравнится с поцелуями.

– Но никакие поцелуи не сравнятся с медалью, которую заслужишь на войне.

– Ты не заслужишь медали.

– Ого, посмотрим! Я и Джекин единственные барабанщики, которых возьмут на войну. Все остальные уже настоящие солдаты, и мы получим медали вместе с ними.

– Пусть бы взяли кого-нибудь другого, только не тебя, Пигги. Тебя убьют, ты такой смелый. Оставайся лучше со мной, Пигги, маленький. И я никогда не буду изменять тебе, вечно буду любить тебя.

– А теперь разве ты изменяешь мне, Крис? Не любишь меня?

– Конечно, люблю, но только есть один интереснее тебя.

Тебе нужно крошечку подрасти, Пигги. Ведь ты не больше меня.

– Я уж два года в армии и все ещё не видал настоящей службы. Не отговаривай меня идти, Крис. Когда я вернусь, буду совсем похож на взрослого мужчину, тогда женюсь на тебе. Женюсь, когда получу чин.

– Обещаешь, Пигги?

Лью думал о будущем так же, как говорил Джекин несколько дней назад, но ротик Крис был так близко к его губам.

– Обещаю, Крис, если Бог мне поможет, – сказал он.

Крис обвила рукой его шею.

– Я не буду больше удерживать тебя, Пигги. Иди, завоёвывай свою медаль. А я сошью тебе новый кисет, самый красивый, – шептала она.

– Положи туда клочок твоих волос, Крис. Я запрячу его поглубже в карман и не расстанусь с ним, пока жив.

Крис снова заплакала, и свидание кончилось. Общая ненависть юных барабанщиков к Лью и Джекину дошла до высшего предела, и им жилось несладко. Их не только зачислили раньше положенного возраста на два года, но ещё точно в награду за их крайнюю молодость – четырнадцать лет – позволили идти на фронт. Этого не случалось ещё ни с одним мальчиком-барабанщиком. В оркестре, который брали на фронт, оставили двадцать человек, остальных перевели в строй. Джекин и Лью были взяты как сверхкомплектные,

хотя они и предпочитали быть в ряду горнистов.

– Все равно уже, – сказал Джекин после медицинского осмотра. – Спасибо, что взяли и так. Доктор сказал, что если нам сошли с рук побои сына базарного сержанта, значит, все сойдёт.

– Так и будет, – сказал Лью, нежно рассматривая растрёпанный, плохо сшитый мешок, который дала ему Крис, зашив в перекосившуюся букву L прядь своих волос.

– Сшила, как умела, – сказала она, рыдая. – Я не хотела, чтобы мне мама помогала или портной сержанта... Береги его всегда, Пигги, и помни, что я тебя люблю.

Их шло на станцию железной дороги девятьсот шестьдесят человек, и все жители местечка выбежали смотреть на них. Барабанщики скрежетали зубами, смотря на марширующих с оркестром Лью и Джекина. Замужние женщины плакали на платформе, а солдаты кричали «ура» до того, что посинели.

– Подбор хоть куда, – сказал полковник ротному командиру, пропустив мимо четыре взвода.

– Годятся на что-нибудь, – с гордостью ответил ротный. – Молоды только они, мне кажется. Мало ещё натерпелись. Да и холодно там, должно быть, теперь, на верхней границе.

– С виду они достаточно здоровы, – сказал полковник. – Но мы должны быть готовы на случай заболеваний.

Так подвигались они все ближе и ближе к северу, мимо бесчисленных гуртов верблюдов, мимо армий партизан и ле-

гионов нагруженных мулов. Толпа росла по мере следования вперёд, пока поезд не втащил их, наконец, с пронзительным свистом на совершенно запруженную площадку, где скрещивались шесть линий временных путей, приспособленных для шести поездов в сорок вагонов. Здесь свистели локомотивы, обливались потом бабусы, и дежурные офицеры ругались от рассвета до ночи среди разлетающихся по ветру клочков сена и несмолкаемого рёва тысячи быков.

«Спешите – вы страшно нужны на фронте». Такое распоряжение было получено «Передовым и Тыльным» ещё в пути, о том же говорили ему и ехавшие в фурах Красного Креста.

– Драка бы ещё куда ни шло, – вздыхал кавалерист с обвязанной головой среди кучки глазающих на него солдат «Передового и Тыльного». Драка там не так страшна, хотя и её достаточно. А вот с пищей да с климатом из рук вон плохо. Каждую ночь мороз, когда нет града, а днём солнце палит. А вода такая вонючая, что с ног сшибает. У меня голова облупилась, как яйцо. А потом заполучил воспаление, и кишки с желудком совсем расстроились. Да, прогулка туда неважная, могу сказать.

– А на кого похожи негры? – спросил кто-то из присутствующих.

– А там вон в поезде везут несколько пленников. Подите посмотрите. Только это у них аристократы. Простой народ куда безобразнее. Если хотите посмотреть, чем они дерутся,

тяните у меня из-под сиденья длинный нож, это и есть их оружие.

Вытянули и стали рассматривать страшный треугольный африканский нож с костяной рукояткой. Длинной он был почти с Лью.

– Вот их оружие, – тихо проговорил кавалерист. – Таким ножом отхватить руку от плеча все равно что кусок масла отрезать. Я разрубил надвое бродягу, который им дрался, но ведь их ещё сколько там осталось. Они плохо наступают, но дерутся, как дьяволы.

Солдаты перешли через рельсы, чтобы посмотреть на африканских пленников. Они совсем не были похожи на «негров», которых встречали когда-либо солдаты «Передового». Это были громадные, черноволосые, хмурые сыны Бен-Израэля. Они отворачивались от любопытных взглядов солдат и переговаривались между собой.

– Глаза бы не глядели, какая безобразная свинья! – сказал Джекин, завершавший процессию. – Скажи, старичок, как ты сюда попал? Как это тебя не повесили за твою безобразную морду? А?

Самый громадный из пленников повернулся, гремя кандалами, и смотрел на мальчика.

– Смотри! – закричал он своим товарищам. – Они посылают против нас детей. Какой народ, какие дураки!

– Эге! – продолжал Джекин, весело кивая головой. – Ты отправляешься к нам на родину. Счастливый путь, старичок,

у нас лучше, чем здесь. Смотри веселее, да береги своё хорошенькое личико.

Солдаты смеялись, хотя начали уже несколько сознавать, что солдатам быть – не всегда значит пиво пить да в кегли играть. Звериный вид громадных негров, с которыми они познакомились и которых называли шайтанами, произвёл на них гнетущее впечатление так же, как и все ухудшающаяся обстановка путешествия. Будь в полку десятка два опытных солдат, они научили бы остальных хотя бы устраиваться на ночь с некоторым удобством, но таких не было, и они жили «как поросята», по определению других полков на линии. Они привыкли к отвратительной походной пище, от которой с души воротило, привыкли к верблюдам, мулам и отсутствию палаток. А употребление внутрь микроскопического населения воды породило уже несколько случаев дизентерии.

В конце третьего перехода они были неприятно удивлены прилетевшей к ним из засады шагов за семьсот свинцовой сплюсненной пулей, пробившей череп солдату, сидевшему у огня. Это было началом продолжительного обстрела, не дававшего покоя всю ночь. Днём они ничего не видели, кроме подозрительного облачка дыма над скалистой линией перехода. Ночью вдаль вспыхивали огни, по временам слышались выстрелы, заставлявшие всматриваться в темноту и в освещавшийся время от времени неприятельский лагерь. Все ругались и клялись, что все это можно назвать чем угод-



но, только не войной.

И в самом деле, войны не было. Полк не мог останавливаться, чтобы мстить за партизанские вылазки. Его обязанность – идти вперёд для соединения с шотландским и гуркаским полками, к которым его прикомандировали. Афганцы знали это, а после своего первого выступления узнали также и то, что имеют дело с неопытным полком. Поэтому они и решили держать все время в напряжении «Передовой и Тыльный». Ни в коем случае не допустили бы они подобных вольностей с полком, например, гурков – маленьких, злых гурков, находивших наслаждение в устраивании засад тёмной ночью, – или с полком страшных людей в женских юбках, которые громко молились их Богу по ночам и спокойствие которых ничем не могло быть нарушено, или, наконец, гадких синхов, которые хвастались своей беспечностью и жестоко мстили осмелившимся воспользоваться ею. Этот полк был совсем, совсем другой. Его солдаты спали, как годовалые быки, и так же, как они, бросались в разные стороны, когда их будили. Его часовые ходили так тяжело, что звук их шагов был слышен на расстоянии версты. Они стреляли во все, что только двигалось вдали, в погонщика ослов, например, и, слыша выстрелы, сами поднимали страшную суматоху и потом не успокаивались до восхода солнца. Кроме того, при полке было много полковой прислуги, которая отставала и могла быть без труда вырезана. Крики слуг приводили в смятение этих белых мальчишек, которые оставались без

них совершенно беспомощными.

Таким образом, с каждым переходом скрытый враг становился смелее, а полк корчился и ёжился под его атаками, которые оставались не отомщёнными. Венцом вражеского торжества было внезапное ночное нападение, кончившееся тем, что были перерезаны верёвки палаток. Палатки упали на спавших людей, которые в смятении барахтались и боролись под накрывшей их парусиной. Это была ловкая выходка, прекрасно исполненная и окончательно расшатавшая без того уже потрёпанные нервы «Передового и Тыльного». Мужества, которое было необходимо в таком случае, не оказалось, а смятение привело к тому, что перестреляли собственных товарищей и потеряли сон на оставшуюся часть ночи.

Сумрачные, недовольные, озябшие, одичавшие и больные, в грязных и разорванных мундирах, присоединились, наконец, солдаты и офицеры «Передового» к бригаде.

– Слышал я, что вам тяжело пришлось на переходах, – сказал бригадный.

Но когда он увидел госпитальные фуры, на лице его отразился ужас.

«Скверно, – сказал он про себя. – Их перебили, как стадо баранов».

Затем он обратился вслух к полковнику:

– Боюсь, что вам не удастся отдохнуть. Нам нужны все наличные силы, а то я дал бы вам дней десять, чтобы оправиться.

Полковника передёрнуло.

– Клянусь честью, сэр, – возразил он, – вовсе нет необходимости щадить нас. Солдаты имеют ужасный вид потому, что им не удалось отплатить за себя. Они до сих пор не имели случая встретиться с врагом лицом к лицу, а им только это и нужно, чтобы воспрянуть.

– Не жду я много путного от «Передового», – сказал бригадный ротному. – Они растеряли все своё снаряжение и прошли так через всю страну. Более утомлённого полка мне не приходилось видеть.

– Ничего, оправятся, как на дело пойдут. Парадный лоск поистерся, конечно, а походный приобретут ещё, – сказал ротный. – Их потрепали изрядно, а они, кажется, и не признают этого.

Они, действительно, не сознавали. Все время успех был на стороне противника и при обстоятельствах, тяжело сказывавшихся на солдатах. Кроме того, в полку появились и настоящие болезни, уносившие в могилу сильных и здоровых прежде людей. Хуже всего было то, что офицеры знали страну не лучше солдат и только делали вид, что знают. «Передовой и Тыльный» попал, действительно, в плохие условия, но люди его были уверены, что все пойдёт хорошо, как только они встретятся с врагом. Лёгкие перестрелки в пути не доставляли удовлетворения, а штык никогда не содействовал успеху. Такие столкновения были удобны для длинноруких африканцев, которые производили опустошения в рядах ан-

гличан своими восьмифутовыми ножами.

«Передовой» жаждал встретить врага по-настоящему – дружным залпом из всех семисот ружей сразу. Такое желание выражало настроение солдат.

Гурки пришли к ним в лагерь и старались завязать с ними разговор на ломаном английском языке. Они предлагали им трубки, табак и приглашали их выпить. Но солдаты «Передового» не были знакомы с гуркасами и смотрели на них, как на всех других «негров», и маленькие люди в зелёных куртках уходили обиженные к своим друзьям горцам и жаловались им на «передовых». «Проклятый белый полк. Трусы, фу! Грязные, оборванные, фу!» И горцы били их по головам за то, что они оскорбляли британский полк, но гурки добродушно ухмылялись, потому что считали горцев своими старшими братьями. Другому солдату не сносить бы головы за такое обращение с гурками.

Через три дня бригадный командир завязал настоящий бой по всем правилам войны и применительно к особенностям афганцев. Неприятели заняли невыгодную позицию среди холмов, и движение множества зелёных знамён предостерегало, что местные племена пришли на помощь регулярным войскам афганцев. Полтора эскадрона бенгальских улан представили лёгкую кавалерию, а два орудия, взятые напрокат у отряда, находящегося в тридцати милях отсюда, артиллерию.

– Если они устоят, а я почти уверен, что так будет, – сказал

командир, – то у нас выйдет такое сражение, что будет на что посмотреть. Каждый полк должен выступить со своим оркестром, а кавалерию будем держать в резерве.

– В этом только и будет состоять резерв? – спросил кто-то.

– Только в этом. Нам нужно зажать их сразу, – ответил командир, бывший необыкновенным командиром и не веривший в значение резерва, когда дело касалось азиатов.

И действительно, если бы британская армия во всех своих мелких стычках ожидала резервов, граница нашей империи проходила бы на Брайтонском побережье.

Бой должен был быть образцовым.

Три полка, своевременно занявшие позиции на высотах, выйдя потом из трех ущелий, должны были развернуться от центра вправо и влево около того, что мы будем называть афганской армией, собравшейся тогда на краю плоской долины. Таким образом, будет видно, что три стороны равнины находятся в руках англичан, а четвёртая составляет собственность афганцев. В случае поражения афганцы побегут за холмы, где огонь их соплеменников прикроет их отступление. В случае победы те же племена со всей силой обрушатся на англичан, чтобы привести их в замешательство.

Пушки должны были срывать голову каждой сомкнутой колонне афганцев, и кавалерии, находящейся в резерве на правой стороне, предстояло не допустить беспорядка, обыкновенно возникающего при атаке. Бригадный командир избрал себе место на скале над равниной, чтобы наблюдать за

битвой, развёртывавшейся у его ног. «Передовому и Тыльному» надлежало выйти из среднего ущелья, гуркасам – из левого и горцам – из правого, так как левое крыло врага казалось более сильным. Не каждый день случалось идти на афганцев так открыто, как в этот раз, поэтому бригадный решил не упускать случая.

– Если бы нам немного побольше людей, – жаловался он, – мы окружили бы этих тварей и раздавили бы их окончательно. А теперь боюсь, что нам удастся только прихлопнуть часть, когда они набегут. Досадно, очень досадно.

«Передовой и Тыльный», наслаждавшийся полным покоем в течение пяти дней, начал несколько приходить в себя, несмотря на дизентерию. Но люди не чувствовали себя счастливыми, потому что не знали ещё, какая будет у них работа, а если бы и знали, то не сумели бы сказать, как с ней справиться. В эти пять дней, в которые старые солдаты могли бы выучить их военному делу, они вспомнили свои злоключения – как тот или другой был жив на рассвете и перестал существовать уже в сумерки, или как кричал кто-нибудь, борясь за жизнь, умирая под ножом афганца. Смерть на войне была чем-то новым и ужасным для людей, привыкших видеть обычное умирание в постели от болезни. Даже тщательный уход в лазаретах не приучил их относиться к этому с меньшим ужасом.

На рассвете затрубили трубы. «Передовой» некстати переполнился энтузиазмом и выступил, не дождавшись даже

чашки кофе с бисквитом. В награду он мёрз под ружьём, пока другие полки собирались не торопясь. Горцы особенно не любят торопиться даже тогда, когда это необходимо.

Солдаты «Передового» ждали, опираясь на ружья и прислушиваясь к протестам пустого желудка. Полковник изо всех сил старался исправить ошибку и устроил так, что кофе был готов как раз в то время, когда солдаты двинулись с оркестром впереди. И все-таки «Передовой» пришёл на свою позицию за десять минут до назначенного времени. Его оркестр свернул направо, дойдя до открытого места, и отступил назад за маленькую скалу, продолжая играть, пока проходил полк.

Зрелище было не из приятных, особенно для непривычного взгляда, так как вся нижняя часть долины казалась заполненной раскинувшейся армией, состоявшей из нескольких полков, одетых в красные мундиры и вооружённых, несомненно, ружьями с пулями Мартини-Генри, которые взрывают землю на сотню шагов впереди. По такому, как оспой изрытому, пространству должен был пройти полк, после чего он открыл бал общим глубоким поклоном свистящим пулям. Едва ли сознавая, что делают, солдаты сделали залп из ружей, машинально приложив ружья к плечу и нажимая собачку. Выстрелы могли спугнуть нескольких часовых на холмах, но, конечно, не произвели никакого впечатления на вражеский фронт, и только шум их заглушил команду.

– Боже мой! – сказал командир, смотря со своего места на

скале. – Этот полк испортил весь вид. Поторопите остальные и выдвиньте пушки.

Но пушки, обстреливая вершины, сосредоточили огонь на небольшом глиняном укреплении, напоминавшем осиное гнездо, и стали без помех обстреливать его на расстоянии восьмисот шагов, к большому неудовольствию засевших в нем неприятелей, не привыкших к этому дьявольскому изобретению.

«Передовой и Тыльный» продолжал идти вперёд, но уже сокращённым шагом. Где все другие полки и почему эти негры используют пули Мартини? Солдаты инстинктивно повиновались команде, ложась и стреляя наобум, пробежали некоторое пространство вперёд и снова ложились по правилам. Каждый чувствовал себя при этом безнадёжно одиноким и жался к товарищу, как бы ища у него защиты.

Звук выстрела из соседнего ружья заставлял хвататься за своё и поспешно стрелять из него, находя успокоение в этих звуках. Вскоре получили и награду за такой образ действий. Пять залпов обволокли все кругом непроницаемым дымом, а пули взрывали землю перед стреляющими шагах в двадцати или тридцати; в то же время тяжёлый штык ружья оттягивал плечо, а правая рука ныла от сотрясения во время выстрела. Командиры беспомощно вглядывались в дым, более нервные машинально отмахивались от него шлемами.

– Вверх и влево! – кричал во все горло капитан, пока не охрип. – Невозможно! Перестаньте палить, дайте рассеяться



хоть немного дыму.

Несколько раз горнисты призывали к порядку, и, когда наконец стихла стрельба, все в «Передовом и Тыльном» ожидали увидеть перед собой груды вражеских тел. Но вот ветер развеял дым, и враг предстал перед ними на своём месте, почти не потревоженный. Четверть тонны свинца была погребена перед ними, о чем свидетельствовала взрытая земля.

Все это нисколько не подействовало на афганцев, не обладающих нервами европейцев. Они были готовы умереть в пылу сражения и спокойно стреляли в гущу дыма. Один из рядовых «Передового и Тыльного» завертелся на глазах товарищей и упал с предсмертным криком. Другой хватался руками за землю и задыхался, а третий, с разорванными зазубренной пулей внутренностями, взывал к товарищам, умоляя прекратить его мучения. Такие зрелища не могли действовать успокаивающе. Дым сменился бледным туманом.

Неприятель вдруг разразился страшным криком, и тёмная, сбившаяся в комок масса оторвалась от остального войска и покатила с невообразимой быстротой на британскую армию. Это были человек триста туземцев, устремившихся с криками и выстрелами за пятьюдесятью товарищами, бежавшими впереди. Пятьдесят же принадлежали к племени гхазиев, полуопьяненных наркотиками и совершенно безумных от религиозного фанатизма. Британские солдаты перестали стрелять и по команде встретили их штыками, сомкнувшись в ряды.

Всякий, знающий дело, мог бы сказать «Передовому и Тыльному», что гхазиев нужно было встретить не штыками, а полными залпами. Человек, идущий на смерть и жаждущий смерти, рассчитывая получить за неё награду на Небесах, непременно, из десяти случаев в девяти, убьёт противника, желающего жить. Когда гхазии, сомкнувшись, шли на «Передовой и Тыльный», последний развёртывал фронт и сражался, а когда те развёртывались и стреляли, он смыкался и ждал.

Люди, вытасщенные из-под одеял, не выспавшиеся и голодные, не могли быть в хорошем настроении. Не мог прибавить им бодрости и этот внезапный натиск трехсот великанов, с вытаращенными глазами и с бородами в пене, яростно кричащих и размахивающих длинными ножами.

«Передовой и Тыльный» слышал звуки горнов гуркасов с одной стороны и рожки горцев с другой. Он старался остаться на месте, хотя штыки его солдат беспомощно качались в воздухе, как весла сломанной лодки. Наконец, они вступили в рукопашную с врагом. Схватка кончилась криками предсмертных страданий, ножи сделали то, что не поддаётся описанию.

Солдаты пришли в полное смятение и убивали товарищей. Фронт смялся, как бумага, пятьдесят гхазиев пробились сквозь него. Следующие за ними туземцы, опьянённые успехом, дрались с такой же безумной яростью, как они.

Задним рядам было приказано сомкнуться, и субалтерны

ринулись в схватку – одни. Сюда доносились вопли и стоны с фронта, солдаты видели потоки чёрной крови и испугались. Они не желали стоять на месте. Они все устремились назад. Пусть офицеры лезут в пекло, если хотят, они будут спасаться от ужасных ножей.

– Вперёд! – кричали субалтерны, а их солдаты проклинали их и бежали назад, натываясь друг на друга.

Чертерис и Девлин, субалтерны последнего отряда, встретили смерть лицом к лицу, в полной уверенности, что их солдаты следуют за ними.

– Вы убили меня, трусы! – зарыдал Девлин и рухнул на землю, рассечённый от плеча до середины груди. А его солдаты отступали один за другим, топча его ногами, стремясь безудержно назад, откуда пришли.

Гурки полились рядами из левого ущелья и стали спускаться вниз ускоренным маршем. Чёрные скалы запестрели зелёными мундирами, торжественные звуки горнов огласили окрестности. Последние ряды гурков спотыкались о скатывающиеся из-под ног камни, передние останавливались на минуту, чтобы окинуть взглядом долину и завязать ремни обуви.

Выражение счастливого удовлетворения появилось на лицах при виде внизу врага, навстречу которому так спешили гурки. Враг был многочислен. Будет пожива. Маленькие люди сжимали свои кукрисы в руках и выжидающе смотрели на своих офицеров, как терьеры следят за рукой бросающего

камень. Они стояли на спуске в долину и наслаждались развернувшимся перед их глазами зрелищем. Их офицеры не торопились на битву с гхазиями, пусть белые солдаты сами берегут свой фронт.

– Ай-ай! – сказал субалдар-майор, обливаясь потом. – Проклятые дурни, они смыкаются! Разве теперь можно смыкаться, надо палить!

С глумлением и негодованием следили гурки за отступлением «Передового и Тыльного», провожая бегущих солдат ругательствами и насмешками.

– Бегут, бегут белые! Сахиб-полковник, не можем ли и мы немножко побегать?

Но полковник все не двигался с места.

– Пусть эту шушеру повырежут немного, – сказал он с озлоблением. – Так им и надо! – Он смотрел в полевой бинокль и уловил мелькание офицерской сабли.

– Бьют их плашмя саблей, проклятых. Гхазия так и врезались в их ряды! – говорил он.

«Передовой и Тыльный» бежал, увлекая за собой офицеров. Все столпились в узком проходе, и задние ряды дали несколько робких залпов. Гхазии остановились, потому что не знали, какой резерв мог быть скрыт в ущелье. Во всяком случае, было бы неблагоприятно гнаться слишком далеко за белыми. Они возвращались, как волки возвращаются в берлогу, удовлетворённые пролитой кровью, останавливаясь только время от времени, чтобы прикончить какого-нибудь

раненого на земле.

За четверть мили от поля битвы остановился «Передовой», столпился в ущелье, измученный, дрожащий и обезумевший от страха. Вне себя от отчаяния, офицеры били солдат тупыми сторонами и рукоятками сабель.

– Назад! Назад, трусы! Бабы! Повернитесь лицом, станьте в ряды – собаки! – кричал полковник, а субалтерны громко ругались. Но солдаты стремились только уйти дальше, как можно дальше от беспощадных ножей. Они метались, окончательно сбитые с толку выстрелами и криками, а справа гуркасы выпускали залп за залпом в спину убегающим гхазиям.

Оркестр «Передового» бежал при первом натиске, хотя и находился в стороне под прикрытием скалы. Джекин и Лью бежали также, но их детские ноги не могли поспеть за ногами взрослых, и они отстали шагов на пятьдесят. И в то время, как оркестр смешался с полком, мальчишки с ужасом увидели себя одинокими и беспомощными.

– Бежим назад за скалу, – проговорил Джекин, задыхаясь. – Там нас не увидят.

И они вернулись к брошенным инструментам оркестра, едва переводя дыхание от усталости.

– Хорошенькое зрелище! – сказал Джекин, бросаясь на землю.

– Очень хорошее зрелище для британской пехоты! Дьяволы! Все ушли и бросили нас одних! Что мы будем делать?

Лью поднял потерянную кем-то бутылку с ромом и пил до

тех пор, пока не закашлялся.

– Пей, – сказал он коротко. – Они минуты через две вернутся, увидишь.

Джекин пил, но не было никаких признаков возвращения войска. Они слышали глухой шум в центре долины и видели, как крались назад гхазии, стараясь ускользнуть от пуль гуркасов.

– Мы остались одни от всего оркестра, и нас убьют, это так же верно, как сама смерть, – сказал Джекин.

– Я не боюсь смерти, – храбро сказал Лью, размахивая тонкой саблей барабанщика. Хмель уже ударил ему в голову, так же как и Джекину.

– Стой! Я знаю кое-что получше сражения, – сказал Джекин, «осенённый блестящей идеей», появившейся под действием рома. Заставим наших великолепных трусов вернуться назад. Подлые патаны ушли. Скатертью дорога! Идём, Лью! Нам ничего не сделают. Бери флейту и дай мне барабан. Да стой же прямо, пьяный бездельник! Направо, кругом – марш!

Он повесил барабан через плечо, сунул флейту в руку Лью, и оба пошли, исполняя какую-то смесь боевых маршей.

Как верно сказал Лью, некоторые солдаты «Передового и Тыльного» возвращались униженные и мрачные, подгоняемые ругательствами и ударами офицеров. Их красные мундиры мелькали уже в начале долины и над ними блестели штыки. Но между этой неровной, колеблющейся линией и

врагами было ровное пространство, усеянное телами раненых и трупами убитых. Афганцы, по свойственной им подозрительности, опасались, что за быстрым отступлением скрывалась ловушка, и потому не двигались с места.

Музыка оглашала долину; и мальчики шли плечо к плечу, причём Джекин бил в барабан изо всех сил. Флейта заливалась, и жалобные звуки её неслись к гуркасам.

– Идите, собаки! – бормотал Джекин. – Для кого же мы играем?

Лью устремил взгляд вперёд и маршировал, как на большом параде.

И злой насмешкой звучал напев старой боевой песни о подвигах Александра, Геркулеса, Гектора и Лизандра.

Громкие рукоплескания неслись с позиции гурков, одобрительно ревели горцы, но ни одного выстрела не раздалось ни со стороны англичан, ни со стороны афганцев. А две маленькие красные точки двигались все вперёд по направлению к неприятельскому фронту.

Солдаты «Передового и Тыльного» густой массой столпились у входа в долину. Бригадный командир наблюдал с высоты в безмолвной ярости. И все никакого движения со стороны неприятеля. Казалось, день остановился, смотря на детей.

Джекин остановился и выбивал барабанную дробь на сбор, и флейта молила безнадежно.

– Направо, кругом, вперёд! Держись, Лью, пьянчуга!

– Они идут! Вперёд, Лью!

«Передовой» разлился по долине. Что говорили офицеры солдатам в это позорное время, никто никогда не узнает, потому что ни солдаты, ни офицеры никому не скажут об этом теперь.

– Они идут опять! – закричал афганский жрец. – Не убивайте мальчиков! Возьмём их живыми, они обратятся в нашу веру.

Но раздался первый залп, и Лью упал вниз лицом. Джекин стоял с минуту, затем перевернулся и упал под ноги солдатам «Передового и Тыльного», которые шли под градом проклятий офицеров, с сознанием стыда и позора в душе.

Почти все солдаты видели, как умирали барабанщики, и ничем не выразили своих чувств. Они даже не кричали. Они шли через долину в полном порядке, не стреляя.

– Вот это, – сказал полковник гурков, – это настоящая атака. Надо идти им на помощь! Вперёд, ребята!

– Улю-лю-лю! – завизжали гурки и бросились вниз, потрясая ножами-кукрисами.

Справа не было движения. Горцы, вручив души Богу (потому что большая разница для умершего быть застреленным в пограничной стычке или в битве при Ватерлоо), открыли огонь и стреляли, по своему обычаю, ровно, спокойно, без перерывов. Их пушки, спрятанные в нелепом глиняном укреплении, выпускали ядро за ядром в неприятельские отряды, стоявшие на высотах под зелёными знамёнами.



– Несчастливая обязанность – заряжать ружья, – пробормотал штандартный сержант правого крыла горцев. – Это только раздражает солдат. Но заряжать придётся ещё немало, если эти чёрные дьяволы не поддадутся. Стюорт, голубчик, ты стреляешь прямо в солнце, а оно ведь не причиняет вреда даже солдатским запасам. Пониже и не так яростно! Что делают англичане? Что-то очень спокойно в центре. Или они опять собираются бежать?

Англичане не собирались бежать. Они кололи, резали, рубили, колотили. Белый редко бывает сильнее афганца в бараньей шкуре или в ватном халате, но, когда жажда мести разгорается в его душе, он может много сделать, пустив в ход оба конца своего ружья. Солдаты стреляли только тогда, когда одна пуля могла пронизать пять или шесть человек, и фронт афганцев стал поддаваться под залпами. Тогда «Передовые» стали наступать ещё сильнее, убивая врагов с яростными криками и только теперь сознавая, что афганцы атакуемые гораздо менее страшны, чем афганцы атакующие. Старые солдаты могли бы сказать им об этом. Но в их рядах не было старых солдат.

На стороне гурков было больше всего шума, они ревели, как быки на бойне, звеня своими кукрисами, которые они предпочитали штыкам, зная, как ненавидят афганцы их клинки в виде полумесяца.

Когда афганцы стали отступать, зеленые знамёна на горах зашевелились по направлению к ним. Туземцы шли на по-

мощь, и в этом была их ошибка. Уланы горячились в правом ущелье и три раза высылали своего единственного субалтерна на разведку о ходе дела. В третий раз пуля оцарапала его колено, и он вернулся, проклиная индостанцев и донося, что все уже кончено. Тогда эскадрон помчался с быстротой ветра, размахивая пиками, и налетел на остатки врагов как раз в то время, когда, согласно правилам войны, следовало бы подождать дальнейшего отступления.

Но это была изящная атака, красиво выполненная, и она кончилась тем, что кавалерия оказалась у прохода, который афганцы наметили для отступления. Вслед за уланами двинулись два корпуса горцев, что совсем не входило в расчёт бригадного командира, но способствовало дальнейшему успеху сражения. Враги были оторваны от своей основной позиции, как губка от своей скалы, и отброшены огнём в долину. И как губка носится по ванне по воле руки купающегося, так афганцы, разбитые на мелкие группы, метались из стороны в сторону по долине.

– Смотрите, – говорил командир, – все произошло по моему плану. Мы отрезали их от базы и разбили их по частям.

Прямой удар вышел таким, на какой командир не смел и надеяться, принимая во внимание силы, какими он располагал. Но людям, которые могли погибнуть или выиграть от случайной ошибки противника, может быть прощено их желание подменить случай следствием своих расчётов. Противника продолжали успешно громить. Афганцы бежали, как

бегут волки, рыча и огрызаясь через плечо. Красные пики ныряли сверху по двое и по трое и среди раздававшихся криков поднимались и мелькали, как мачты в бурном море, среди кавалеристов, расчищающих себе путь. Они гнались за своей добычей по вершинам, куда спасались все, кому удалось вырваться из долины смерти. Горцы давали преследуемым отбежать шагов на двести, потом настигали их, разбивая прежде, чем хотя бы один успевал подняться на вершину; гурки делали то же. Солдаты «Передового и Тыльного» били со своей стороны, задержав группу между своими штыками и скалой, причём выстрелы из их ружей воспаляли ватные халаты афганцев.

– Нам не удержать их, капитан-сахиб! – сказал один из улан. – Разрешите пустить в дело карабины. Пика – дело хорошее, только требует больше времени.

Карабины мало помогли, и враг таял, разбегаясь по вершинам сотнями, и трудно было остановить его двумя десятками пуль. Пушки на горах перестали палить, они растеряли слишком много снарядов, и бригадный сокрушался, что недостаток ружейного огня не дал возможности блестяще закончить битву. Ещё гремели последние залпы, когда появились люди, чтобы подобрать раненых. Битва закончилась, и если бы ещё немножко свежего войска, афганцы были бы стёрты с лица земли. Но и теперь убитые считались сотнями, и больше всех был устлан трупами путь «Передового и Тыльного».

Но полк не ликовал вместе с горцами и не участвовал в диких плясках гурков среди мёртвых. Солдаты мрачно смотрели на полковника, опираясь на ружья и вздыхая.

– Ступайте в лагерь! Достаточно осрамились на сегодняшний день! Идите, ухаживайте за ранеными. Это вам больше к лицу, – говорил полковник.

А между тем в последний час «Передовой и Тыльный» сделал все, что можно требовать от смертного. Он пострадал жестоко, потому что неумело взялся за дело, но он не щадил себя, и в этом была его награда.

Юный и пылкий штандартный сержант, который начал уже воображать себя героем, предложил свою фляжку горцу, язык которого почернел от жажды.

– Я не пью с трусами, – отвечал ещё более юный горец сухо и, повернувшись к гурку, сказал: – Хайя, Джонни! Глоток воды, если есть.

Гурка оскалил зубы и подал свою фляжку. «Передовые и Тыльные» не сказали ни слова.

Они ушли в лагерь, когда поле битвы было немного приведено в порядок. Только бригадный командир, видевший себя уже с орденом через три месяца, был любезен с ними. Полковник чувствовал себя разбитым, офицеры были мрачны и злобны.

– Что делать, – говорил полковник, – полк ещё молод, и нет ничего удивительного в том, что он не сумел отступить в порядке.

– Отступить в порядке! – бормотал молодой офицер. – Если бы ещё они только в беспорядке отступали! Но они ударили во все лопатки!

– Но ведь они вернулись назад, насколько известно, – старался утешить командир бледного, как смерть, полковника. – И дальше уже они вели себя так, как лучше и желать нельзя. Превосходно вели себя. Я наблюдал за ними. Не стоит так горячо принимать к сердцу, полковник. Их только нужно было «обстрелять немножко», как говорят немецкие генералы о своих солдатах.

А про себя он думал: «После такого кровопускания их можно будет послать уже и на ответственное дело. Ещё одна-другая перестрелка, так их потом и не удержишь. Бедняга полковник».

Весь остаток дня мелькал гелиограф по вершинам, стараясь разнести хорошие вести на десятки миль в округности. А вечером прибыл потный, запыхлённый, усталый корреспондент, проплутавший в горах, заставший только смятение в горевшей деревне и проклинаяющий свою неудачу.

– Расскажите мне, пожалуйста, все подробности. В первый раз случилось со мной, что я пропустил битву, – говорил он командиру.

И командир, нисколько не смущаясь, рассказал ему о том, как сокрушена и разбита была неприятельская армия, благодаря исключительно его стратегической мудрости и предусмотрительности.

Но другие, и, между прочим, гурки, наблюдавшие битву с вершин, говорили, что она была выиграна, благодаря Люю и Джекину, чьи маленькие тела были погребены в приспособленные для них маленькие ямки, в изголовье громадной братской могилы на высотах Джегая.